

Владимир Маяковский

Избранное



Владимир Владимирович Маяковский

Избранное

М. Тужилин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=143042

Содержание

«Я САМ»	4
Поэмы	31
ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК	61
ВОЙНА И МИР	74
ЧЕЛОВЕК	117
150 000 000	156
ЛЮБЛЮ	216
IV ИНТЕРНАЦИОНАЛ	230
ПЯТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ	240
ПРО ЭТО	280
РАБОЧИМ КУРСКА,	348
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН	369
ЛЕТАЮЩИЙ ПРОЛЕТАРИЙ	472
Конец ознакомительного фрагмента.	524

Владимир Маяковский

Избранное

«Я САМ»

ТЕМА

Я-поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном – только если это отстоялось словом.

ПАМЯТЬ

Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве, – каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то «доряне». Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминать же – «Сие написано 2 мая. Павловск. Фонтаны» – дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии.

ГЛАВНОЕ

Родился 7 июля 1894 года (или 93 – мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше). Родина – село Багдади, Кутаисская губерния, Грузия.

СОСТАВ СЕМЬИ

Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий), умер в 1906 году.

Мама: Александра Алексеевна.

Сестры:

а) Люда.

б) Оля.

Других Маяковских, по-видимому, не имеется.

1-е ВОСПОМИНАНИЕ

Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец написал журнал «Родина». У «Родины» «юмористическое» приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «алон занфан де ля по четыре». «Родина» пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: «Как смешно! Дядя с тетей целуются». Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось – раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и юморе.

2-е ВОСПОМИНАНИЕ

Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый длинный студент – Б. П. Глушковский. Рисует. Кожаная тетрадища. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов (а может, в обтяжку) перед зеркалом. Человека зовут «Евгенионегинным». И Боря был длинный, и нарисованный был длинный. Ясно. Борю я и с читал этим самым «Евгени-

онегинным». Мнение держалось года три.

3-е ВОСПОМИНАНИЕ

Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот мамы и папы. О рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось.

ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Лето. Потрясающие количества гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню специально для папиных именин:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор...

«Соплеменные» и «скалы» меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал тихо ее ненавидеть.

КОРНИ РОМАНТИЗМА

Первый дом, вспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний – наш. Нижний – винный заводик. Раз в году – арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория старин-

нейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость четырехугольнивается крепостным валом. В углах валов – накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось – это Россия. Тянуло туда невероятнейше.

НЕОБЫЧАЙНОЕ

Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами – ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь.

УЧЕНИЕ

Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием.

ПЕРВАЯ КНИГА

Какая-то «Птичница Агафья». Если б мне в то время попало несколько таких книг – бросил бы читать совсем. К счастью, вторая – «Дон-Кихот». Вот это книга! Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее.

ЭКЗАМЕН

Переехали. Из Багдад в Кутаис. Экзамен в гимназию. Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве) – знал хорошо. Но священник спросил – что такое «око». Я ответил: «Три фунта» (так по грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что «око» – это «глаз» по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу – все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм.

ГИМНАЗИЯ

Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жуля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром.

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Увеличилось количество газет и журналов дома. «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богатство» и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Восхищают открытия

крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю. Появилось слово «прокламация». Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков.

НЕЛЕГАЛЬЩИНА

Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
скорей брось винтовку на землю.

И еще какое-то, с окончанием;

...а не то путь иной —
к немцам с сыном, с женой и с мамашей...

(о царе).

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове.

905-й ГОД

Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), — на переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника — Исидор,

от радости босой вскочил на плиту – убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю живописно: в черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты.

СОЦИАЛИЗМ

Речи, газеты. Из всего – незнакомые понятия и слова. Требую у себя объяснений. В окнах белые книжицы. «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой социал-демократов». Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир. «Что читать?» – кажется, Рубакина. Перечитал советуемое. Много не понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистский кружок. Попал на «Эрфуртскую». Середина. О «лumpенпролетариате». Стал считать себя социал-демократом: стащил отцовские берданки в эсдечий комитет. Фигурой нравился Лассаль. Должно быть, оттого, что без бороды. Моложавей. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Хожу на Рион. Говорю речи, набрав камни в рот.

РЕАКЦИЯ

По-моему, началось со следующего: при панике (может, разгоне) в демонстрацию памяти Баумана мне (упавшему) попало большущим барабанищем по голове. Я испугался,

думал – сам треснул.

906-й ГОД

Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца – у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было.

ДОРОГА

Лучше всего – Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи – нефть, а дальше степь. Пустыня даже.

МОСКВА

Остановились в Разумовском. Знакомые сестры – Плотниковы. Утром паровиком в Москву. Сняли квартиренку на Бронной.

МОСКОВСКОЕ

С едами плохо. Пенсия – 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. Помню – первый передо мной «большевик» Вася Кандаки.

ПРИЯТНОЕ

Послан за керосином. 5 рублей. В колониальной дали сда-

чи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей – чистый заработок. Состылся. Обосел два раза магазин («Эрфуртская» заела). – Кто обсчитался, хозяин или служащий, – тихо расспрашиваю приказчика. – Хозяин! – Купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по Патриаршим прудам. Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу.

РАБОТА

Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10-15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину.

ГИМНАЗИЯ

Перевелся в 4-й класс пятой гимназии. Единицы, слабо разнообразяемые двойками. Под партой «АнтиДюринг».

ЧТЕНИЕ

Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика

максимальной экономии.

ПЕРВОЕ ПОЛУСТИХОТВОРЕНИЕ

Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим «социалистическим достоинством», бросил вовсе.

ПАРТИЯ

1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался «товарищем Константином». Здесь работать не пришлось – взяли.

АРЕСТ

29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Пресненская часть. Охранка. Сущевская Часть. Следователь Вольтановский (очевидно, считал себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании про-

кламации. Я безнадежно перевирали диктант. Писал: «социальдемократическая». Возможно, провела. Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен. Вышел. С год – партийная работа. И опять кратковременная сидка. Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили.

ТРЕТИЙ АРЕСТ

Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин-каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть – Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. – и наконец – Бутырки. Одиночка № 103.

11 БУТЫРСКИХ МЕСЯЦЕВ

Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики – бросился на беллетристику. Перечел все новейшее. Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось так же про другое – нельзя. Вышло ходульно и ревлаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям – при выходе отобрали. А то б еще напечатал! Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга – «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась.

Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова.

Во время сидки судили по первому делу – виновен, но летами не вышел. Отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность.

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДИЛЕММА

Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, – так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше них. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии – надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива – всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли,

взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело – «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною – «сотни томительных дней». Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу – я еще не знал, что это такое, – я тогда уважал!) Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии – Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка. Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу. Я сел учиться.

НАЧАЛО МАСТЕРСТВА

Думалось – стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебрянкие сервизики. Через год догадался – учусь рукоделию. Пошел к Келину. Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся.

Требование – мастерство, Гольбеин. Терпеть не могущий красивенькое.

Поэт почитаемый – Саша Черный. Радовал его антиэстетизм.

ПОСЛЕДНЕЕ УЧИЛИЩЕ

Сидел на «голове» год. Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо. Удивило: подражателей лелеют – самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых.

ДАВИД БУРЛЮК

В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались.

В КУРИЛКЕ

Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе.

ПАМЯТНЕЙШАЯ НОЧЬ

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной – на всю классическую скуку. У Давида – гнев обогнавшего современников мастера, у меня – пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм.

СЛЕДУЮЩАЯ

Днем у меня вышло стихотворение. Вернее – куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю – это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рывкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом.

БУРЛЮЧЬЕ ЧУДАЧЕСТВО

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

ТАК ЕЖЕДНЕВНО

Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) – «Багровый и белый» и другие.

ПРЕКРАСНЫЙ БУРЛЮК

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и

говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая. На Рождество завез к себе в Новую Маячку. Привез «Порт» и другое.

«ПОЩЕЧИНА»

Из Маячки вернулись. Если с неотчетливыми взглядами, то с отточенными темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова – Крученых. После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу».

ПОШЕВЕЛИВАЮТСЯ

Выставки «Бубновый валет». Диспуты. Разъяренные речи мои и Давида. Газеты стали заполняться футуризмом. Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли «сукиным сыном».

ЖЕЛТАЯ КОФТА

Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы – гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке – галстук. Очевидно – увеличишь галстук, увеличится и фурор.

А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстукovou рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое.

РАЗУМЕЕТСЯ

Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Директор училища. Предложил прекратить критику и агитацию. Отказались.

Совет «художников» изгнал нас из училища.

ВЕСЕЛЫЙ ГОД

Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настояживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада. К ватаге присоединился Вася Каменский. Старейший футурист.

Для меня эти годы – формальная работа, овладение словом.

Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки.

Возвращаясь в Москву – чаще всего жил на бульварах.

Это время завершилось трагедией «Владимир Маяковский». Поставлена в Петербурге. Луна-Парк. Просвистели ее до дырок.

НАЧАЛО 14-го ГОДА

Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах».

ВОЙНА

Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих. «Война объявлена».

АВГУСТ

Первое сражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне – надо ее видеть. Пошел записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности. И у полковника Модля оказалась одна хорошая идея.

ЗИМА

Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие.

Интерес к искусству пропал вовсе.

МАЙ

Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куоккала.

КУОККАЛА

Семизнакомая система (семипольная). Установил семь

обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник – Евреинова и т. д. В четверг было хуже – ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень – это не дело.

Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако».

Выкрепло сознание близкой революции.

Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький оплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился.

Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете.

Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея.

«НОВЫЙ САТИРИКОН»

65 рублей прошли легко и без боли. «В рассуждении чего б покушать» стал писать в «Новом сатириконе».

РАДОСТНЕЙШАЯ ДАТА

Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками.

ПРИЗЫВ

Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Один Брик радуется. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напе-

чал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.

С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже.

СОЛДАТЧИНА

Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальников портреты. В голове разворачивается «Война и мир», в сердце – «Человек».

16-й ГОД

Окончена «Война и мир». Немного позднее – «Человек». Куски печатаю в «Летописи». На военщину нагло не показываюсь.

26 ФЕВРАЛЯ, 17-й ГОД

Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковее. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно – за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики. Пишу в первые же дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции – «Большевики искусства».

АВГУСТ

Россия понемногу откереңсывается. Потеряли уважение. Ухожу из «Новой жизни». Задумываю «Мистерию-Буфф».

ОКТАБРЬ

Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать.

ЯНВАРЬ

Заехал в Москву. Выступаю. Ночью «Кафе поэтов» в Настасьинском. Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков. Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты. Июнь. Опять Петербург.

18-й ГОД

РСФСР – не до искусства. А мне именно до него. Заходил в Пролеткульт к Кшесинской. Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань.

25 ОКТАБРЯ, 18-й ГОД

Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил Мейерхольд с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно. Особенно коммунистическая интеллигенция. Андреева чего-чего не делала. Чтоб мешать. Три раза поставили – по-

том расколотили. И пошли «Макбеты».

19-й ГОД

Езжу с мистерией и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием. В Выборгском районе организуется комфут, издаем «Искусство коммуны». Академии трещат. Весной переезжаю в Москву.

Голову охватила «150000000». Пошел в агитацию РОСТА.

20-й ГОД

Кончил «Сто пятьдесят миллионов». Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все. Все равно. Печатаю здесь под фамилией.

Дни и ночи РОСТА. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей.

21-й ГОД

Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости – ставлю второй вариант мистерии.

Идет в I РСФСР – в режиссуре Мейерхольда с художниками Лавинским, Храковским, Киселевым и в цирке на немецком языке для III конгресса Коминтерна. Ставит Грановский с Альтманом и Равделем. Прошло около ста раз.

Стал писать в «Известиях».

22-й ГОД

Организирую издательство МАФ. Собираю футуристов – коммуны. Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам. Начал записывать работанный третий год «Пятый Интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет.

23-й ГОД

Организуем «Леф». «Леф» – это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается, – интересующихся отсылаю к N%N%. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский.

Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте. Начал обдумывать поэму «Ленин». Один из лозунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» – деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная – реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации.

24-й ГОД

«Памятник рабочим Курска». Многочисленные лекции по СССР о «Лефе». «Юбилейное» – Пушкину. И стихи это-

го типа – цикл. Путешествия: Тифлис, Ялта – Севастополь. «Тамара и Демон» и т. д. Закончил поэму «Ленин». Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы. Много езжу за границу. Европейская техника, индустриализм, всякая попытка соединить их с еще непролазной бывшей Россией – всегдашняя идея футуриста-лефовца.

Несмотря на неутешительные тиражные данные о журнале, «Леф» ширится в работе.

Мы знаем эти «данные» – просто частая канцелярская незаинтересованность в отдельных журналах большого и хладнокровного механизма ГИЗа.

25-й ГОД

Написал агитпоэму «Летающий пролетарий» и сборник агитстихов «Сам пройдишь по небесам». Еду вокруг земли. Начало этой поездки – последняя поэма (из отдельных стихов) на тему «Париж». Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год должен закончить первый роман.

«Вокруг» не вышло. Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал. Изъездил Мексику, С.—А. С. Ш. и куски Франции и Испании. Результат – книги: публицистика-проза – «Мое открытие Амери-

ки» и стихи – «Испания», «Атлантический океан», «Гаванна», «Мексика», «Америка». Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что: пока дописывалось, проникался ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилии, чтоб на факте. Впрочем, это и на 26-й – 27-й годы.

1926-й ГОД

В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают – однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому, кроме супруги, не интересно.

Пишу в «Известиях», «Труде», «Рабочей Москве», «Заре Востока», «Бакинском рабочем» и других. Вторая работа – продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. д.

1927-й ГОД

Восстанавливаю (была проба «сократить») «Леф», уже «Новый». Основная позиция: против выдумки, эстетизации и психоложества искусством – за агит, за квалифицирован-

ную публицистику и хронику. Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо».

«Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гипербола, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.

Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены – лампы сияют, цены снижены»), введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»).

Буду разрабатывать намеченное.

Еще: написаны – сценарии и детские книги.

Еще продолжал менестрелить. Собрал около 20000 записок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочникам). Я знаю, о чем думает читающая масса.

1928-й ГОД

Пишу поэму «Плохо». Пьесу и мою литературную биографию. Многие говорили: «Ваша автобиография не очень серьезна». Правильно. Я еще не заакадемичился и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело мое меня интересует, только если это весело. Подъем и опадание многих литератур, символисты, реалисты и т. д., наша борьба с ними – все

это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьезной истории. Это требует, чтобы об нем написать. И напишу.

1922. 1928

Поэмы ОБЛАКО В ШТАНАХ

Тетраптих

(Вступление)

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.

А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,

громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоа.

Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,

как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже

у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
"Знаете —
я выхожу замуж".

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
"Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть", —
а я одно видел:
вы – Джоконда,

которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.

Что же!

И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?

"Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий".

Помните!

Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!

Господа!

Любители

святотатств,

преступлений,

боев, —

а самое страшное

видели —

лицо мое,

когда

я

абсолютно спокоен?

И чувствую —
"я"

для меня мало.

Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!

Кто говорит?

Мама?

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.

Каждое слово,

даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —

запахло жареным!

Нагнали каких-то.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Я сам.

Глаза наслезненные бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтаются в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипчивают, рифмами пиликаая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,

а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi и костлявые пролетки
грудь испешеходили.

Чахотки плоче.
Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщъ,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,

только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется, «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
"Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?"
А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженью,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стена,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы

с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы – молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
"Распни,

распни его!"
Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабресный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцей,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.

Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
«Хорошо!»
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер.
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещицы
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг

и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкая,
и небе лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путях,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гуляющие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,

закисшие в блохастом грязненьке!

Идите!

Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!

Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!

Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумашествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,

перекусит
и съест.
Видите —
небо опять иудит
пригоршню обгрызанных предательством звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеив.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу – глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь – опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики – отцы,
девочки – забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?

Ждешь,
как щеки провалятся ямкою
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».
Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!

Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?

Птица

побирается песней,

поет,

голодна и звонка,

а я человек, Мария,

простой,

выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?

Пусти, Мария!

Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.

На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни

лишь сотый апрель есть.
Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
"хлеб наш насущный
даждь нам днесь".

Мария – дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария —
не хочешь?

Не хочешь!

Ха!

Значит – опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.
Кровью сердце дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
– Послушайте, господин бог!

Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте – знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из сервской муки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,

что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914-1915

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравнице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!

Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:

погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты бы играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,

если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам
лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —

убери проклятую ту,
которую сделал моей любимой!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубо,
и тучи, ободренные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!

Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.
Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.
С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.

Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.
Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:

себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я – равный кандидат
и на царя вселенной,
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелю во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь

вызарилась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.

Запрусь одинокий с листом бумаги я.

Творишь, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —

в доме неладно.

Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.

Рада?

Холодное

«очень».

Смятением разбита разума ограда.

Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,

все равно

не спрячешь трупа.

Страшное слово на голову лавь!

Все равно

твой каждый мускул

как в рупор

трубит:

умерла, умерла, умерла!

Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)
Ямами двух могил
вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.
Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.

Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
Я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я

как надвое раскололся в вопле,
Крикнул ему:
"Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашей ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!"

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдал,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,

рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!

Весеньтесь жизни всех стихий!

Я хочу одной отравы —

пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,

всего его лишив,

вымучившая душу в бреду мою,

прими мой дар, дорогая,

больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.

Творишь,

распятью равная магия.

Видите —

гвоздями слов

прибит к бумаге я.

1915

ВОЙНА И МИР

ПРОЛОГ

Хорошо вам.
Мертвые сраму не имут.
Злобу
к умершим убийцам туши.
Очистительнейшей влагой вымыт
грех отлетевшей души.

Хорошо вам!
А мне
сквозь строй,
сквозь грохот
как пронести любовь к живому?
Оступлюсь —
и последней любвишки кроха
навек канет в дымный омут.

Что им,
вернувшимся,
печали ваши,
что им
каких-то стихов бахрама?!

Им
на паре б деревяшек
день кое-как прохромать!

Боишься!

Трус!

Убьют!

А так

полсотни лет еще можешь, раб, расти.

Ложь! Я знаю,

и в лаве атак

я буду первый

в геройстве,

в храбрости.

О, кто же,

набатов гибнущих годин

званный,

не выйдет брав?

Все!

А я

на земле

один

глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!

Не разбрызгав,

Душу

сумел,

сумел донести.
Единственный человеческий,
среди воя,
среди визга,
голос
подъемлю днесь.

А там
расстреливайте,
вяжите к столбу!
Я ль изменюсь в лице!
Хотите —
туза
нацеплю на лбу,
чтоб ярче горела цель?!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Лиле

8 октября.
1915 год.
Даты времени,
смотревшего в обряд
посвящения меня в солдаты.

«Слышите!

Каждый,
ненужный даже,
должен жить;
нельзя,
нельзя ж его
в могилы траншей и блиндажей
вкопать заживо —
убийцы!»

Не слушают.
Шестипудовый унтер сжал, как пресс.
От уха до уха выбрили аккуратненько.
Мишенью
на лоб
нацепили крест
ратника.

Теперь и мне на запад!
Буду идти и идти там,
пока не оплачут твои глаза
под рубрикой
«убитые»
набранного петитом.

TPA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA

И ВОТ

на эстраду,
колеблемую костром оркестра,
вывалился живот.
И начал!
Рос в глазах, как в тысячах луп.
Змеился.

Пот сиял лачком.
Вдруг —
остановил мелькающий пуп,
вывертелся волчком.

Что было!
Лысины слиплись в одну луну.
Смаслились глазки, щелясь.
Даже пляж,
расхлестав соленую слюну,
осклабил утыканную домами челюсть.

Вывертелся.
Рты,
как электрический ток,
скрючило «браво».
Браво!
Бра-аво!
Бра-а-аво!
Бра-а-а-аво!
Б-р-а-а-а-а-в-о!
Кто это,

Эта массомьяся
быкомордая орава?

TPA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA
TPA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA_PA

А там,
всхлобучась на вечер чинный,
женщины
раскачивались шляпой стопёрой.
И в клавиши тротуаров бухали мужчины,
уличных блудилищ остервенелые таперы.
Вправо,
влево,
вкривь,
вкось,
выфрантив полей лоно,
вихрились нанизанные на земную ось
карусели Вавилониц,
Вавилончиков,
Вавилонов.

Над ними
бутыли,
восхищающие длиной.
Под ними
бокалы
пьяной ямой.
Люди
или валялись,
как упившийся Ной,
или грохотали мордой многохамой!

Нажрутся,
а после,
в ночной слепоте,
ывалясь мясами в пухе и вате,
сползутся друг на друге потеть,
города содрогая скрипом кроватей.

Гниет земля,
ламп огни ей
взрывают кору горой волдырей;
дрожа городов агонией,
люди мрут
у камня в дыре.

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтоб понять людей небывалую убыль:

в прогрызанной душе
золотолапым микробом
вился рубль.

Во все концы,
чтоб скорее вылить
смерть,
взбурлив людей крышам вровень,
сердец столиц тысячесильные Дизели
вогнали вагоны зараженной крови.

Тихие!
Недолго прожили.
Сразу
железо рельс всочило по жиле
в загар деревень городов заразу.
Где пели птицы – тарелок лязги.
Где бор был – площадь стодомым содомом.
Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски
публичный дом за публичным домом.

Солнце подымет рыжую голову,
запекшееся похмелье на вспухшем рте,
и нет сил удержаться голому —
взять
не вернуться ночам в вертеп.

И еще не успеет
ночь, арапка,

лечь, продажная,
в отдых,
в тень, —
на нее
раскаленную тушу вскарабкал
новый голодный день.

В крыши зажатые!
Горсточка звезд,
ори!
Шарахайся испуганно, вечер-инок!
Идем!
Раздуем на самок
ноздри,
выеденные зубами кокаина!

ЧАСТЬ II

Это случилось в одну из осеней,
были горюче-сухи
все.
Металось солнце,
сумасшедший маляр,
оранжевым колером пыльных выпачкав.

Откуда-то

на землю
нахлынули слухи.
Тихие.
Заходили на цыпочках.

Их шепот тревогу в гр'уди выселил,
а страх
под черепом
рукой красной
распутывал, распутывал и распутывал
мысли,
и стало невыносимо ясно:
если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены —
зараженная земля
сама умрет —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!

Чего размякли?!
Хныкать поздно!
Раньше б раскаянье осеняло!
Тысячеруким врачам
ланцетами роздано
оружье из арсеналов.

Италия!
Королю,

брадобрею ли
ясно —
некуда деться ей!
Уже сегодня
реяли
немцы над Венецией!

Германия!
Мысли,
музеи,
книги,
каньте в разверстые жерла.
Зевы зарев, оскальтесь нагло!
Бурши,
скачите верхом на Канте!
Нож в зубы!
Шашки наголо!

Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под Евангелие
Толстых!
За ногу худую! По камню бородой!

Франция!
Гони с бульваров любовный шепот!
В новые танцы — юношей выловить!
Слышишь, нежная?

Хорошо
под музыку митральезы жечь и насиловать!

Англия!
Турция!..
Т-р-а-а-ах!
Что это?
Послышалось!
Не бойтесь!
Ерунда!
Земля!
Смотрите,
что по волосам ее?
Морщины окопов легли на чело!
Т-с-с-с-с-с-с... —
грохот.
Барабаны, музыка?
Неужели?
Она это,
она самая?
Да!
НАЧАЛОСЬ.

ЧАСТЬ III

Нерон!
Здравствуй!
Хочешь?
Зрелище величайшего театра.
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.

Куда легендам о бойнях Цезарей
перед былью,
которая теперь была!
Как на детском лице заря,
нежна ей
самая чудовищная гипербола.

Белкой скружишься у смеха в колесе,
когда узнает твой прах о том:
сегодня
мир
весь – Колизей,
и волны всех морей
по нем изостлались бархатом.

Трибуны – ск'алы,
и на скале там,
будто бой ей зубы выломил,
поднебесья соборов
скелет за скелетом

выжглись
и обнеслись перилами.

Сегодня
заревом в земную плешь она,
кровавая толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажженная Европа.

Пришли,
расселись в земных долинах
гости
в страшном наряде.
Мрачно поигрывают на шеях длинных
ожерелья ядер.

Золото славян.
Черные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна.
Всех земных широт ярусы
вытолпила с головы до пят она.
И там,
где Альпы,
в закате грея,
выласкали в небе лед щеки, —
облаков галереей
нахохлились зоркие летчики.

И когда
на арену
воины
вышли
парадными парами,
в версты шарахнув театром удвоенный
грохот и гром миллиардных армий, —
шар земной
полюсы стиснул
и в ожидании замер.
Седоволосые океаны
вышли из берегов,
впились в арену мутными глазами.
Пылающими сходнями
спустилось солнце —
суровый
вечный арбитр.
Выгорая от любопытства,
звезд глаза повылезли из орбит.

А секунда медлит и медлит.
Лень ей.
К началу кровавых игр,
напряженный, как совокупление,
не дыша, остановился миг.

Вдруг —
секунда вдребезги.
Рухнула арена дыму в дыру.

Секунды быстрились и быстрились —
взрывали,
ревели,
рвали.

Пеной выстрел на выстреле
огнел в кровавом вале.
Вперед!

СПА_СИ ГОС_ПО_ДИ ЛЮ_

Вздрогнула от крика грудь дивизий.
Вперед!

Пена у рта.

Разящий Георгий у знамен в девизе,
барабаны:

TPA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA
TPA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA

Бутафор!

Катафалк ГОТОВЬ!

ВДОВ В ТОЛПУ!

Мало вдов еще в ней.

И взвился

В Небо

фейерверк фактов,
один другого чудовищней.

Выпучив глаза, маяк

из-за гор
через океаны плакал;
а в океанах
эскадры корчились,
насаженные мине на кол.

Дантова ада кошмаром намаранней,
громоголосие меди грохотом изоржав,
дрожа за Париж,
последним
на Марне
ядром отбивается Жоффр.

С юга
Константинополь,
оскалив мечети,
выблевывал
вырезанных
в Босфор.
Волны!
Мечите их,
впившихся зубами в огрызки просфор.

Лес.
Ни голоса.
Даже нарочен
в своей тишине.
Смешались их и наши.
И только

проходят
вороны да ночи,
в чернь облачась, чредой монашьей.

И снова,
грудь обнажая зарядам,
плывя по веснам,
пробиваясь в зиме,
армия за армией,
ряд за рядом
заливают мили земель.

Разгорается.
Новых из дубров волок.
Огня пентаграмма в пороге луга.
Молниями колючих проволок
сожраны сожженные в уголь.

Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сел.
Медными мордами жрут
всё.
Огневержец!
Где не найдешь, карая!
Впутаясь ракете,
в небо вбегу —
с неба,
красная,
рдея у края,

кровь Пегу.

И тверди,
и воды,
и воздух взрыт.
Куда направлю опромети шаг?
Уже обезумевшая,
уже навзрыд,
вырываясь, молит душа:

«Война!
Довольно!
Уйми ты их!
Уже на земле голо».
Метнулись гонимые разбегом убитые,
и еще
минуту
бегут без голов.

А над всем этим
дьявол
заревом зевот дымит.
Это в созвездии железнодорожных линий
стоит
озаренное пороховыми заводами
небо в Берлине.

Никому не ведомо,
дни ли,

годы ли,
с тех пор как на поле
первую кровь войне отдали,
в чашу земли сцедив по капле.

Одинаково —
камень,
болото,
халупа ли,
человечьей кровищей вымочили весь его.
Везде
шаги
одинаково хлюпали,
меся дымящееся мира месиво.

В Ростове
рабочий
в праздничный отдых
захотел
воды для самовара выжать, —
и отшатнулся:
во всех водопроводах
сочилась та же рыжая жижа.

В телеграфах надрывались машины Морзе.
Орали городам об юных они.
Где-то
на Ваганькове
могильщик заерзал.

Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене.

В широко развороченную рану полка
раскаленную лапу всунули прожекторы.

Подняли одного,
бросили в окоп —

того,
на ноже который!

Библеец лицом,
изо рва
ряса.

«Вспомните!

За ны!

При Понтийстем Пилате!»

А ветер ядер
в клочки изорвал
и мясо и платье.

У_ПО_КОЙ ГОС_ПО_ДИ ДУ_ШУ У_СОПША_ГО
РА_БА ТВО_Е_ГО

Выдернулась из дыма сотня голов.

Не сметь заплаканных глаз им!

Заволокло
газом.

ВЕ_ЧНА_Я ПА_МЯТЬ

Белые крылья выросли у души,

стон солдат в пальбе доносится.

«Ты на небо летишь, —
удуши,
удуши его,
победоносца».

Бьется грудь неровно...

Шутка ли!

К богу на дом!

У рая, в облака бронированного,
дверь расшибаю прикладом.

Трясутся ангелы.

Даже жаль их.

Белее перышек личика овал.

Где они —

боги!

«Бежали,

все бежали,

и Саваоф,

и Будда,

и Аллах,

и Иегова».

У_ПО_КОЙ ГОС_ПО_ДИ ДУ_ШУ У_СОПША_ГО
РА_БА ТВО_Е_ГО

Ухало.

Ахало.

Охало.

Но уже не та канонада, —
повздыхала еще
и заглохла.

Вылезли с белым.

Взмолились:

— не надо! —

Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.

Безрукому огрызку кровавого обеда
на чёрта она?!

Последний на штык насажен.
Наши отходят на Ковно,
на сажень
человечьего мяса нашинковано.

И когда затихли
все, кто нападали,
лег
батальон на батальоне —
выбежала смерть
и затанцевала на падали,
балета скелетов безносая Тальони.

Танцует.
Ветер из-под носка.

Шевельнул папахи,
обласкал на мертвом два волоска,
и дальше —
попахивая.

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом
изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги.

ЧАСТЬ IV

Эй!
Вы!
Притушите восторженные глазенки!
Лодочки ручек суньте в карман!
Это
достойная награда
за выжатое из бумаги и чернил.

А мне за что хлопать?
Я ничего не сочинил.

Думаете:

врет!

Нигде не прострелен.

В целехоньких висках биенья не уладить,
если рукоплещут
его барабанов трели,
его проклятий рифмованной руладе.

Милостивые государи!

Понимаете вы?

Боль берешь,

растишь и растишь ее:

всеми пиками истыканная грудь,

всеми газами свороченное лицо,

всеми артиллериями громимая цитадель головы —
каждое мое четверостишие.

Не затем

взвела

по насыпям тел она,

чтоб, горестный,

сочил заплаканную гнусь,

страшной тяжестью всего, что сделано,

без всяких

«красиво»,

прижатый, гнусь.

Убиты —

и все равно мне, —

я или он их
убил.
На братском кладбище,
у сердца в яме,
легли миллионы, —
гниют,
шевелиятся, приподымаемые червями!
Нет!
Не стихами!
Лучше
язык узлом завяжу,
чем разговаривать.
Этого
стихами сказать нельзя.
Выхоленным ли языком поэта
горящие жаровни лизать!

Эта!
В руках!
Смотрите!
Это не лира вам!
Раскаяньем вспоротый,
сердце вырвал —
рву аорты!

В кашу рукоплесканий ладош невме'сите!
Нет!
Не вмесите!
Рушьяся, комнат уют!

Смотрите,
под ногами камень.
На лобном месте стою.
Последними глотками
воздух...

Вытеку, срубленный,
но кровью выем
имя «убийца»,
выклейменное на человеке.
Слушайте!
Из меня
слепым Виём
время орет:
«Подымите,
подымите мне
веков веки!»

Вселенная расцветет еще,
радостна,
нова.
Чтоб не было бессмысленной лжи за ней,
каюсь:
я
один виноват
в растущем хрусте ломаемых жизнью!

Слышите —
солнце первые лучи выдало,

еще не зная,
куда,
отработав, денется, —
это я,
Маяковский, подножию идола
нес
обезглавленного младенца.

Простите!

В христиан зубов резцы
вонзая,
львы вздымали рык.
Вы думаете – Нерон?
Это я, Маяковский
Владимир,
пьяным глазом обволакивал цирк.

Простите меня!

Воскрес Христос.
Свили
одной любовью
с устами уста вы;
Маяковский
еретикам
в подземелье Севильи
дыбой выворачивал суставы.

Простите,
простите меня!

Дни!

Вылазьте из годов лачуг!

Какой раскрыть за собой
еще?

Дымным хвостом по векам волочу
оперенное пожарами побоище!

Пришел.

Сегодня

не немец,

не русский,

не турок, —

это я

сам,

с живого сдирая шкуру,

жру мира мясо.

Тушами на штыках материки.

Города – груды глиняные.

Кровь!

Выцеди из твоей реки

хоть каплю,

в которой невинен я!

Нет такой!

Этот
выколотыми глазами —
пленник,
мною меченный.
Я,
в поклонах разбивший колени,
голодом выглодал з'емли неметчины.

Мечу пожаров рыжие пряди.
Волчьи щетинюсь из темени ям.
Люди!
Дорогие!
Христа ради,
ради Христа,
простите меня!

Нет,
не подыму искаженного тоской лица!
Всех окаяннее,
пока не расколется,
буду лоб разбивать в покаянии!
Встаньте,
ложью верженные ниц,
оборванные войнами
калеки лет!
Радуйтесь!
Сам казнится
единственный людоед.

Нет,
не осужденного выдуманная хитрость!
Пусть с плахи не соберу разодранные части я, —
все равно
всего себя вытряс,
один достоин
новых дней приять причастие.

Вытеку срубленный,
и никто не будет —
некому будет человека мучить.
Люди рождаются,
настоящие люди,
бога самого милосердней и лучше.

ЧАСТЬ V

А может быть,
больше
у времени-хамелеона
и красок никаких не осталось.
Дернется еще
и ляжет,
бездыхан и угловат.
Может быть,
дымами и боями охмеленная,

никогда не подымется земли голова.

Может быть...

Нет,

не может быть!

Когда-нибудь да выстеклится мыслей омут,
когда-нибудь да увидит, как хлещет из тел ала.

Над вздыбленными волосами руки заломит,
выстонет:

«Господи,
что я сделала!»

Нет,

не может быть!

Грудь,

срази отчаянья лавину.

В грядущем счастье вырыщи ощупь.

Вот,

хотите,

из правого глаза

выну

целую цветущую рощу?!

Птиц причудливых мысли ройте.

Голова,

закинься восторженна и горда.

Мозг мой,

веселый и умный строитель,

строй города!

Ко всем,
кто зубы еще
злостью выцемил,
иду
в сияющих глаз заре.
Земля,
встань,
тыщами
в ризы зарев разоде́тых Лазарей!

И радость,
радость! —
сквозь дымы
светлые лица я
вижу.
Вот,
приоткрыв помертвевшее око,
первая
приподымается Галиция.
В травы вкуталась ободраннм боком.

Кинув ноши пушек,
выпрямились горбатые,
кровавленными сединами в небо канув,
Альпы,
Балканы,
Кавказ,
Карпаты.

А над ними,
выше еще —
двое великанов.
Встал золототельный,
молит;
«Ближе!
К тебе с изрытого взрывами дна я».
Это Рейн
размокшими губами лижет
иссеченную миноносцами голову Дуная.

До колоний, бежавших за стены Китая,
до песков, в которых потеряна Персия.
каждый город,
ревевший,
смерть кидая, —
теперь сиял.

Шепот.
Вся земля
черные губы разжала.
Громче.
Урагана ревом
вскипает.
«Клянитесь,
больше никого не скосите!»
Это встают из могильных курганов,
мясом обрастают хороненные кости.

Было ль,
чтоб срезанные ноги
искали б
хозяев,
оборванные головы звали по имени?
Вот
на череп обрубку
вспрыгнул скальп,
ноги подбежали,
живые под ним они.
С днищ океанов и морей,
на реях,
оживших утопших выплыли залежи.
Солнце!
В ладонях твоих изогрей их,
лучей языками глаза лижи!
В старушье лицо твое
смеемся,
время!
Здоровые и целые вернемся в семьи!
Тогда
над русскими,
над болгарами,
над немцами,
над евреями,
над всеми,
под тверди небес,
от зарев алой,
ряд к ряду,

семь тысяч цветов засияло
из тысячи разных радуг.
По обрывкам народов,
по банде рассеянной
эхом раскатилось
растерянное
«А-ах!...»
День раскрылся такой,
что сказки Андерсена
щенками ползали у него в ногах.

Теперь не верится,
что мог идти
в сумерках улочек, темный, шаря.
Сегодня
у капельной девочки
на ногте мизинца
солнца больше,
чем раньше на всем земном шаре.

Большими глазами землю обводит
человек.
Растет,
главою гор достиг.
Мальчик
в новом костюме
— в свободе своей —
важен,
даже смешон от гордости.

Как священники,
чтоб помнили об искупительной драме,
выходят с причастием, —
каждая страна
пришла к человеку со своими дарами:
«На».

«Безмерной Америки силу несущ тебе,
мощь машин!»

«Неаполя теплые ночи дарю,
Италия.
Палимый,
пальм всерами маши».

«В холоде севера мерзнувший,
Африки солнце тебе!»

«Африки солнцем сожженный,
тебе,
со своими снегами,
с гор спустился Тибет!»

«Франция,
первая женщина мира,
губ принесла алость».

«Юношей – Греция,
лучшие телом нагим они».

«Чьих голосов мощь
в песне звончее сплеталась?!
Россия
сердце свое
раскрыла в пламенном гимне!»

«Люди,
веками граненную
Германия
мысль принесла».

«Вся
до недр напоенная золотом,
Индия
дары принесла вам!»

«Славься, человек,
во веки веков живи и славься!
Всякому,
живущему на земле,
слава,
слава,
слава!»

Захлебнешься!
А тут и я еще.
Прохожу осторожно,
огромен,

неуклюж.

О, как великолепен я
в самой сияющей
из моих бесчисленных душ!

Мимо поздравляющих,
праздничных мимо я,
— проклятое,
да не колотись ты! —
вот она
навстречу.

«Здравствуй, любимая!»

Каждый волос выласкиваю,
вьющийся,
золотистый.
О, какие ветры,
какого юга,
свершили чудо сердцем погребенным?
Расцветают глаза твои,
два луга!
Я кувыркаюсь в них,
веселый ребенок.
А кругом!
Смеяться.
Флаги.
Стоцветное.
Мимо.

Вздыбились.

Тысячи.

Насквозь.

Бегом.

В каждом юноше порох Маринетти,
в каждом старце мудрость Гюго.

Губ не хватит улыбке столицей.

Все

из квартир

на площади

вон!

Серебряными мячами

от столицы к столице

раскинем веселие,

смех,

звон!

Не поймешь —

это воздух,

цветок ли,

птица ль!

И поет,

и благоухает,

и пестрое сразу, —

но от этого

костром разгораются лица

и сладчайшим вином пьянеет разум.

И не только люди

радость личью
расцвелили,
звери франтовато завили руно,
вчера бушевавшие
моря,
мурлыча,
легли у ног.

Не согласишь,
что плыли,
смерть изрыгав, они.
В трюмах,
навек забывших о порохе,
броненосцы
проводят в тихие гавани
всякого вздора яркие ворохи.

Кому же страшны пушек шайки
эти,
кроткие,
рвут?
Они
перед домом,
на лужайке,
мирно щиплют траву.

Смотрите,
не шутка,
не смех сатиры —

среди бела дня,
тихо,
попарно,
цари-задиры
гуляют под присмотром нянь.

Земля,
откуда любовь такая нам?
Представь —
там
под деревом
видели
с Каином
играющего в шашки Христа.

Не видишь,
прищурилась, ищешь?
Глазенки – щелки две.
Шире!
Смотри,
мои глазища —
всем открытая собора дверь.

Люди! – любимые,
нелюбимые,
знакомые,
незнакомые,
широким шествием излейте в двери те.
И он, свободный, ору о ком я, человек – придет он, верьте

мне, верьте!

1915-1918

ЧЕЛОВЕК

Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов,
– солнца ладонь на голове моей.

Благочестивейший из монашествующих
– ночи облачение на плечах моих.

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую.

Звнящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий,
слышу
твое, земля:
«Ныне отпускаеши»!

В ковчеге ночи,
новый Ной,
я жду —
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Идет!
Пришла.
Раскуталась.

Лучи везде!
Скребут они.
Запели петли утло,
и тихо входят будни
с их шелухою сутолок.

Солнце снова.
Зовет огневых воевод.
Барабанит заря,
и туда,
за земную грязь вы!
Солнце!
Что ж
своего
глашатая
так и забудешь разве?

Рождество Маяковского

Пусть, науськанные современниками,
пишут глупые историки: "Скушной
и неинтересной жизнью жил замечательный поэт".

Знаю,
не призовут мое имя
грешники,
задыхающиеся в аду.
Под аплодисменты попов
мой занавес не опустится на Голгофе.

Так вот и буду
В Летнем саду
пить мой утренний кофе.

В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.
Был абсолютно как все
— до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам.
и никто не догадался намекнуть
недалекой
неделикатной звезде:
"Звезда — мол —
лень сиять напрасно вам!
Если не
человечьего рождения день,
то черта ль,
звезда,
тогда еще
праздновать?!"

Судите:
говорящую рыбешку
выудим нитями невода
и поем,

поем золотую
воспеваем рыбачью удаль.
Как же
себя мне не петь,
если весь я —
сплошная невидаль,
если каждое движение мое —
огромное,
необъяснимое чудо.

Две стороны обойдите.
В каждой
дивитесь пятилучию.
Называется «Руки».
Пара прекрасных рук!
Заметьте:
лучшую
шею выбрать могу
и обовьюсь вокруг.

Черепушечку вскройте —
сверкнет
драгоценнейший ум.
Есть ли,
чего б не мог я!
Хотите,
новое выдумать могу
животное?
Будет ходить

двухвостое
или треногое.
Кто целовал меня —
скажет,
есть ли
слаще слюны моей сока.
Покоится в нем у меня
прекрасный
красный язык.
«О-го-го» могу —
зальется высоко, высоко.
«О-ГО-ГО» могу —
и — охоты поэта сокол —
голос
мягко сойдет на низы.
Всего не сочтешь!
Наконец,
чтоб в лето
зимы,
могу в вино превращать чтоб мог —
у меня
под шерстью жилета
бьется
необычайнейший комок.
Ударит вправо — направо свадьбы.
Налево грохнет — дрожат миражи.
Кого еще мне
любить устлать бы?
Кто ляжет

пьяный,
ночами ряжен?

Прачечная.

Прачки.

Много и мокро.

Радоваться, что ли, на мыльные пузыри?

Смотрите,

исчезает стоногий окорок!

Кто это?

Дочери неба и зари?

Булочная.

Булочник.

Булки выпек.

Что булочник?

Мукой измусоленный ноль.

У вдруг

у булок

загибаются грифы скрипок.

Он играет.

Все в него влюблено.

Сапожная.

Сапожник.

Прохвост и нищий.

Надо

на сапоги

какие-то головки.

Взглянул —
и в арфы распускаются голенища.
Он в короне.
Он принц.
Веселый и ловкий.

Это я
сердце флагом поднял.
Небывалое чудо двадцатого века!

И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка.

Жизнь Маяковского

Ревом встревожено логово банкиров, вельмож и дожей.

Вышли
латы,
золото тенькая.
"Если сердце всё,
то на что,
на что же
вас нагреб, дорогие деньги, я?
Как смеют петь,
кто право дал?
Кто дням велел юлиться?
Заприте небо в провода!
Скрутите землю в улицы!

Хвалился:
«Руки?!»
На ружье ж!
Ласкался днями летними?
Так будешь —
весь! —
колюч, как ёж.
Язык оплюйте сплетнями!"

Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах
верхом
«Закон»,
на сердце цепь —
«Религия».

Полжизни прошло, теперь не вырвешься.
Тысячеглаз надсмотрщик, фонари, фонари, фонари...
Я в плену.
Нет мне выкупа!
Оковала земля окаянная.
Я бы всех в любви моей выкупал,
да в дома обнесен океан её!

Кричу...
и чу!
Ключи звучат!
Тюремщика гримаса.

Бросает
с острия луча
клочок гнилого мяса.

Под хохотливое
«Ага!»
бреду по бреду жара.
Гремит,
приковано к ногам,
ядро земного шара.

Замкнуло золото ключом
глаза.
Кому слепого весть?
Навек
теперь я
заключен
в бессмысленную повесть!

Долой высоких вымыслов бремя!
Бунт
муз обреченного данника.
Верящие в павлинов
— выдумка Брэма! —
верящие в розы
— измышление досужих ботаников! —
мое
безупречное описание земли
передайте из рода в род.

Рвясь из меридианов,
атласа арок,
пенится,
звенит золотоворот,
франков,
долларов,
рублей,
крон,
иен,
марок.

Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.
Тонут слоны.
Мелочи тонут.
В горлах,
в ноздрах.
в ушах звон его липкий.
«Спасите!»
Места нет недоступного стону.

А посредине,
обведенный невозмутимой каймой,
целый остров расцветоченного ковра.
Здесь
живет
Повелитель Всего —
соперник мой,
мой неодолимый враг.

Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтовских восхитительны полосы.
Галстук
выпестренный ахово,
с шеищи
по глобусу пуза расползся.

Гибнут кругом.
Но, как в небе бурав,
в честь
твоего – сиятельный – сана:
Бр-р-а-во!
Эвива!
Банзай!
Ура!
Гох!
Гип-гип!
Вив!
Осанна!

Пророков могущество в громах винят.
Глупые!
Он это
читает Локка!
Нравится.
От смеха
на брюхе
звенят,
молнятся целые цепи брелоков.

Онемелые
стоим
перед делом эллина.
Думаем:
"Кто бы,
где бы,
когда бы?"
А это
им
покойному Фидию велено:
"Хочу,
чтоб из мрамора
пышные бабы".

Четыре часа —
прекрасный повод:
"Рабы,
хочу отобедать заново!"
И бог
— его проворный повар —
из глин
сочиняет мясо фазаново.
Вытянется,
самку в любви олелеяв.
"Хочешь
бесценнейшую из звездного скопа?"
И вот
для него
легион Галилеев

елозит по звездам в глаза телескопов.

Встрясывают революции царств тельца,
меняют погонщиков человеческий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт!

Страсти Маяковского

Слышите?
Слышите лошажье ржанье?
Слышите?
Слышите вопли автомобилей?
Это идут.
идут горожане
выкупаться в Его обилии.

Разлив людей.
Затерся в люд,
растроенный и хлюпкий.
Хватаюсь за уздцы.
Ловлю
за фалды и за юбки.

Что это?
Ты?
Туда же ведома?
В святошестве изолгалась!

Как красный фонарь у публичного дома,
кровав
налившийся глаз.

Зачем тебе?
Остановись!
Я знаю радость слаже!
Надменно лес ресниц навис.
Остановись!
Ушла уже...

Там, возносясь над головами, Он.

Череп блестит,
хоть надень его на ноги,
безволосый,
весь рассиялся в лоске.
Только
у пальца безымянного
на последней фаланге
три
из-под бриллианта —
выщетились волосики.

Вижу – подошла.
Склонилась руке.
Губы волосикам.
шепчут над ними они,
«Флейточкой» называют один,

«Облачком» – другой,
третий – сияньем неведомым
какого-то
только что
мною творимого имени.

Вознесение Маяковского

Я сам поэт. Детей учите: «Солнце встает над ковылями».
С любовного ложа из-за Его волосиков любимой голова.

Глазами взвила ввысь стрелу.
Улыбку убери твою!
А сердце рвется к выстрелу,
а горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.
Идет за мной,
к воде манит.
ведет на крыши скат.
Снега кругом.
Снегов налет.
Завьются и замрут.
И падает
– опять! —
на лед
замерзший изумруд.
Дрожит душа.
Меж льдов она,

и ей из льдов не выйти!
вот так и буду,
заколдованный,
набережной Невы идти.
Шагну —
и снова в месте том.
Рванусь —
и снова зря.

Воздвигся перед носом дом.
Разверзлась за оконным льдом
пузатая заря.

Туда!

Мяукал кот.
Коптел, горя,
ночник.
Звонюсь в звонок.
Аптекаря!
Аптекаря!
Повис на палки ног.

Выросли,
спутались мысли,
оленьи
рога.
Плачем марая
пол,

распластался в моление
о моем потерянном рае.

Аптекарь!

Аптекарь!

Где

до конца

сердце тоску износит?

У неба ль бескрайнего в нивах,

в бреде ль Сахар,

у пустынь в помешанном зное

есть приют для ревнивых?

За стенками склянок столько тайн.

Ты знаешь высшие справедливости.

Аптекарь,

дай

душу

без боли

в просторы вывести.

Протягивает.

Череп.

«Яд».

Скрестилась кость на кость.

Кому даешь?

Бессмертен я,

твой небывалый гость.

Глаза слепые,

голос нем,
и разум запер дверь за ним,
так что ж
— еще! —
нашел во мне, —
чтоб ядом быть растерзанным?

Мутная догадка по глупому приобрела.
В окнах зеваки.
Дыбятся волоса.
И вдруг я
плавно оплываю прилавков.
Потолок отверзается сам.

Визги.
Шум.
«Над домом висит!»
Над домом вишу.

Церковь в закате.
Крест огарком.
Мимо!
Леса верхи.
Вороньём окаркан.
Мимо!

Студенты!
Вздор
все, что знаем и учим!

Физика, химия и астрономия – чушь.

Вот захотел

и по тучам

лечу ж.

Всюду теперь!

Можно везде мне.

взбурься, баллад поэтовых тина.

Пойте теперь

о новом – пойте Демоне

в американском пиджаке

и блеске желтых ботинок.

Маяковский в небе

Стоп!

Скидываю на тучу

вещей

и тела усталого

кладь.

Благоприятны места, в которых доселе не был.

Оглядываюсь.

Эта вот

зализанная гладь —

это и есть хваленое небо?

Посмотрим, посмотрим!

Искрило,
сверкало,
блестело,
и
шорох шел —
облако
или бестелые
тихо скользили.

«Если красавица в любви клянется...»

Здесь.
на небесной тверди,
слышать музыку Верди?
В облаке скважина.
Заглядываю —
ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
"Ну, как вам
Владимир Владимирович,
нравится бездна?"
И я отвечаю так же любезно:

"Прелестная бездна.
Бездна – восторг!"

Раздражало вначале:

нет тебе

ни угла одного,

ни чаю.

ни к чаю газет.

Постепенно вживался небесам в уклад.

Выхожу с другими глазеть,

а не пришло ли новых.

«А, и вы!»

Радостно обнял.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович!»

"Здравствуйте, Абрам Васильевич!

Ну, как кончались?

Ничего?

Удобно ль?"

Хорошие шуточки, а?

Понравилось.

Стал стоять при въезде.

И если

знакомые

являлись, умирав.

сопровождал их.

показывая в рампе созвездий

величественную бутафорию миров.

Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек.

Вот сюда

— и миры застынут в лени —

вот сюда

— и завертятся шибче и круче.

"Крутните, — просят, —

да так, чтоб вымер мир.

Что им?

Кровью поля поливать?"

Смеюсь горячности.

"Шут с ними!

Пусть поливают,

плевать!"

Главный склад всевозможных лучей.

Место выгоревшие звезды кидать.

Ветхий чертеж

— неизвестно чей —

первый неудавшийся проект кита.

Серьезно.

Занято.

Кто тучи чинит,

кто жар надбавляет солнцу в печи.

Всё в страшном порядке,

в покое,

в чине.

Никто не толкается.
Впрочем, и нечем.

Сперва ругались.
«Шатается без дела!»
Я для сердца,
а где у бестелых сердца?!
Предложил им:
"Хотите
по облаку
телом
развалюсь
и буду всех созерцать".

«Нет, – говорят, – это нам не подходит!»
«Ну, не подходит – как знаете! Мое дело предложить».

Кузни времен вздыхают меха —
и новый
год
готов.
Отсюда
низвергается,
громыхая,
страшный оползень годов.

Я счет не веду неделям.
Мы,
хранимые в рамах времен,

мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.

Стих.

Лучам луны на мели
слег,
волнение снами моря.
Будто на пляже южном.
только еще онемелей,
и по мне,
насквозь излаская,
катятся вечности моря.

Возвращение Маяковского

1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы.

Вставай,
довольно!
На солнце очи!
Доколе будешь распластан, нем?
Бурчу спросонок:
"Чего грохочут?
Кто смеет сердцем шуметь во мне?"

Утро,
вечер ли?
Ровен белесый свет небес.

Сколько их,
веков,
успело уйти,
вдребезги дней разбилось о даль...
Думаю,
глядя на млечные пути, —
не моя седая развеялась борода ль?

Звезды падают.
Стал глаза вести.
Ишь
туда,
на землю, быстрая!

Проснулись в сердце забытые зависти,
а мозг
досужий
фантазию выстроил.
— Теперь
на земле.
должно быть, ново.
Пахучие весны развесили в селах.
Город каждый, должно быть, иллюминирован.
Поет семья краснощеких и веселых.

Тоска возникла.
Резче и резче.
Царственно туча встает,
дальнее вспыхнет облако,

все мне мерещится
близость
какого-то земного облика.

Напрягся,
ищу
меж другими точками
землю.

Вот она!

Въелся.
Моря различаю,
горы в орлином клекоте...

Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного
на локте
форменный лесничего сюртук.

Раздражает.
Тоже
уставился наземь.
Какая старому мысль ясна?
Тихо говорит:
"На Кавказе,

вероятно, весна".

Бестелое стадо,
ну и тоску ж оно
гонит!

Взбубнилась злоба апаша.

Папаша.
мне скушно!
Мне скушно, папаша!
Глупых поэтов небом маните,
вырядились
звезд ордена!
Солнце!
Чего расплескалось мантией?
Думаешь – кардинал?
Довольно лучи обсасывать в спячке.
За мной!
Все равно без ножек —
чего вам пачкать?!
И галош не понадобится в грязи земной.

Звезды!
Довольно
мученический плести
венки
земле!
Озакатили красным.

Кто там
крылами
к земле блестит?
Заря?
Стой!
По дороге как раз нам.

То перекинусь радугой,
то хвост завью кометою.
Чего пошел играть дугой?
Какую жуть в кайме таю?

Показываю
мирам
номера
невероятной скорости.

Дух
бездомный давно
полон дум о давних
днях.
Земных полушарий горсти
вижу —
лежат города в них.

Отдельные голоса различает ухо.

Взмахах в ста.

«Здравствуй, старуха!»
Поскользнулся в асфальте.
Встал.

То-то удивятся не ихней силище
путешественника неб.

Голоса:

"Смотрите,
должно быть, красильщик
с крыши.
Еще удачно!
Тяжелый хлеб".

И снова
толпа
в поводу у дела,
громоголосый катился день ее.
О, есть ли глотка,
чтоб громче вгудела
— города громче —
в его гудение.

Кто схватит улиц рвущийся вымах!
Кто может распутать тоннелей подкопы!
Кто их остановит,
по воздуху
в дымах
аэропланами буравящих копать!

По скату экватора
из Чикаг
сквозь Тамбовы
катятся рубли.
Вытянув выи,
гонятся все,
телами утрамбовывая
горы,
моря,
мостовые.

Их тот же лысый
невидимый водит,
главный танцмейстер земного канкана.
То в виде идеи,
то чёрта вроде,
то богом сияет, за облако канув.

Тише, философы!
Я знаю —
не спорьте —
зачем источник жизни дарен им.
Затем, чтоб рвать
затем, чтоб портить
дни листкам календарным.

Их жалеть?
А меня им жаль?

Сожрали бульвары,
сады,
предместья!
Антиквар!
Покажите!
Покупаю кинжал.

И сладко чувствовать,
что вот
пред мстью я.

Маяковский векам

Куда я,
зачем я?
Улицей сотой
мечусь
человечьим
разжужженным ульем.

Глаза пролетают оконные соты,
и тяжело,
и чуждо,
и мерзко в июле им.

Витрины и окна тушит
город.

Устал и сник.

И только
туч выпотрашивает туши
кровавый закат-мясник.

Слоняюсь.
Мост феерический.
Влез.
И в страшном волненье взираю с него я.
Стоял, вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невойю.

Здесь город был.
Бессмысленный город,
выпутанный в дымы трубного леса.
В этом самом городе
скоро
ночи начнутся,
остекленелые,
белесые.

Июлю капут.

Обезночел загретый.
Избрелся в шепот чего-то сквозного.
То видится крест лазаретной кареты,

то слышится выстрел.
Умолкнет —
и снова.

Я знаю,
такому, как я,
накалиться
недолго,
конечно,
но все-таки дико,
когда не фонарные тыщи,
а лица.
Где было подобие этого тика?

И вижу, над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.

И снова стою
онемелый и вкопанный.
Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,
почти что дыхание,
почти что голос,
я думаю — призрак,
он взял, да и ожил.

Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало
— одна! —
раскинулась в шествие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
— снова! —
мое сумасшествие!

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.
Дома похожи.
Вот так же,
из ниши,
готовы кобылей
вылеп.

— Прохожий!
Это улица Жуковского?

Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.

"Она — Маяковского тысячи лет:

он здесь застрелился у двери любимой".

Кто,

я застрелился?

Такое загнут!

Блестящую радость, сердце, вычекань!

Окну

лечу.

Небес привычка.

Высоко.

Глубже ввысь зашел

за этажем этаж.

Завесилась.

Смотрю за шелк —

все то же,

спальня та ж.

Сквозь тысячи лет прошла — и юна.

Лежишь,

волоса луною высиня.

Минута...

и то,

что было — луна,

Его оказалась голая лысина.

Нашел!

Теперь пускай поспят.

Рука,

кинжала жало стиснь!
Крадусь,
приглядываюсь —
и опять!
Люблю
и вспать
иду в любви и жалости.

Доброе утро!

Зажглось электричество.
Глаз два выката.
«Кто вы?» —
"Я Николаев
— инженер.
Это моя квартира.
А вы кто?
Чего пристаёте к моей жене?"

Чужая комната.
Утро дрогло.
Трясаясь уголками губ,
чужая женщина,
раздетая догола.

Бегу.

Растерзанной тенью,
большой,

косматый,
несусь по стене,
луной облитый.
Жильцы выбегают, запахивая халаты.
Гремлю о плиты.
Швейцара ударами в угол загнал.
"Из сорок второго
куда ее дели?" —
"Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле".

Куда теперь?
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне
наручники,
любви тысячелетия...

Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет.
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

Последнее

Ширь,
бездомного
снова
лоном твоим прими!
Небо какое теперь?
Звезде какой?
Тысячью церквей
подо мной
затянул
и тянет мир:
«Со святыми упокой!»

1916-1917

150 000 000

150 000 000 мастера этой поэмы имя.

Пуля – ритм.

Рифма – огонь из здания в здание.

150 000 000 говорят губами моими.

Ротационной шагов

в булыжном верже площадей

напечатано это издание.

Кто спросит луну?

Кто солнце к ответу притянет —
чего

ночи и дни чините?!

Кто назовет земли гениального автора?

Так

и этой

моей

поэмы

никто не сочинитель.

И идея одна у нее —

сиять в настоящее

завтра.

В этом самом году,

в этот день и час,

под землей,

на земле,
по небу
и выше —
такие появились
плакаты,
летучки,
афиши:

«ВСЕМ!

ВСЕМ!

ВСЕМ!

Всем,

кто больше не может!

Вместе

выйдите

и идите!»

(подписи):

МЕСТЬ – ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР.

ГОЛОД – РАСПОРЯДИТЕЛЬ.

ШТЫК.

БРАУНИНГ.

БОМБА.

(три

подписи:

секретари).

Идем!

Идемидем!

Го, го,

го, го, го, го,

го, го!

Спадают!

Ванька!

Керенок подсунь-ка в лапоть!

Босому, что ли, на митинг ляпать?

Пропала Россеичка!

Загубили бедную!

Новую найдем Россию.

Всехсветную!

Иде-е-е-е-м!

Он сидит раззолоченный

за чаем

с птифур.

Я приду к нему

в холере.

Я приду к нему

в тифу.

Я приду к нему,

я скажу ему:

«Вильсон, мол,

Вудро,

хочешь крови моей ведро?

И ты увидишь...»

До самого дойдем

до Ллойд-Джорджа —

скажем ему:

«Послушай,

Жоржа...»

– До него дойдешь!
До него океаны.
Страшен,
как же,
российский одёр им.
– Ничего!
Дойдем пешкодером!
Идемидем! —
Будилась призывом,
из лесов
спросонок,
лезла сила зверей и зверят.
Визжал придавленный слоном поросенок.
Щенки выстраивались в щенячий ряд.
Невыносим человеческий крик.
Но зверий
душу веревкой сворачивал.
(Я вам переведу звериный рык,
если вы не знаете языка зверячьего):
«Слушай,
Вильсон,
заплывший в сале!
Вина людей —
наказание дай им.
Но мы
не подписывали договора в Версале.
Мы,
зверье,
за что голодаем?

Без дров ходить —

дураков наймите!
На митинг, паровозы!
Паровозы,
на митинг!
Скоре-е-е-е-е-е-е-е!
Скорейскорей!
Эй,
губернии,
снимайтесь с якорей!
За Тульской Астраханская,
за машиной машина,
стоявшие недвижимо
даже при Адаме,
двинулись
и на
другие
прут, погромыхивая городами.
Вперед запоздавшую темь гоня,
сшибаясь ламп лбами,
на митинг шли легионы огня,
шагая фонарными столбами.
А по верху,
воду с огнем мира,
загнившие утопшими, катились моря.
«Дорогу каспийской волне-баловнице!
Обратно в России русло не поляжем!
Не в чахлом Баку,
а в ликующей Ницце
с волной средиземной пропляшем по пляжам».

И, наконец,
из-под грома
бега и езды,
в ширь непомерных легких завздохав,
всклобоченными тучами рванулись из дыр
и пошли грозой российские воздуха.
Иде-е-е-е-м!
Идемидем!

И все эти
сто пятьдесят миллионов людей,
биллионы рыбин,
триллионы насекомых,
зверей,
домашних животных,
сотни губерний,
со всем, что построилось,
стоит,
живет в них,
все, что может двигаться,
и все, что не движется,
все, что еле двигалось,
пресмыкаясь,
ползая,
плавая —
лавою все это,
лавою!

И гудело над местом,
где стояла когда-то Россия:
— Это же ж не важно,
чтоб торговать сахаринომ!
В колокола клокотать чтоб — сердцу важно!
Сегодня
в рай
Россию ринем
за радужные закаты скважины.
Го, го,
го, го, го, го,
го, го!
Идемидем!
Сквозь белую гвардию снегов!

**Чего полезли губерний туши
из веками намеченных губернаторами зон?
Что, слушая, небес зияют уши?
Кого озирает горизонт?**

Оттого
сегодня:
на нас устремлены
глаза всего света
и уши всех напряжены,
наше малейшее ловя,
чтобы видеть это,
чтобы слушать эти слова:
это —

революции воля,
брошенная за последний предел,
это —
митинг,
в махины машинных тел вмешавший людей и звери
туши,
это —
руки,
лапы,
клешни,
рычаги,
туда,
где воздух поредел,
вонзенные в клятвенном единодушье.
Поэтов,
старавшихся выть поднебесней,
забудьте,
эти слушайте песни:
«Мы пришли, сквозь столицы,
сквозь тундры прорвались,
прошагали сквозь грязи и лужищи.
Мы пришли, миллионы,
миллионы трудящихся,
миллионы работающих и служащих.
Мы пришли из квартир,
мы сбежали со складов,
из пассажей, пожаром озаренных.
Мы пришли, миллионы,
миллионы вещей,

изуродованных, сломанных,
разоренных.

Мы спустились с гор,
мы из леса сползли,
от полей, годами глоданных.

Мы пришли,
миллионы,
миллионы скотов,
одичавших, тупых,
голодных.

Мы пришли,
миллионы
безбожников,
язычников
и атеистов
боясь
лбом,
ржавым железом,
полем —
все
истово
господу богу помолимся.

Выйдь
не из звездного
нежного ложа,
боже железный,
огненный боже,
боже не Марсов,

Нептунов и Вег,
боже из мяса —
бог-человек!
Звездам н'а мель
не загнанный ввысь,
земной
между нами
выйди,
явись!
Не тот, который
«иже еси на небесех».
Сами
на глазах у всех
сегодня
мы
займемся
чудесами.

Твое во имя
биться дабы,
в громе,
в дыме
встаем на дыбы.
Идем на подвиг
труднее божеского втрое,
творившего,
пустоту вещами д'аруя.
А нам
не только, новое строя,

фантазировать,
а еще и издинамитить старое.

Жажда, по'и!
Голод, насыть!
Время
в бои
тело носить.
Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь, парабеллум!
Самое это!
С донышка душ!
Жаром,
жженьем,
железом,
светом, жарь,
жги,
режь,
рушь!
Наши ноги —
поездов молниеносные проходы.
Наши руки —
пыль сдувающие веера полян.
Наши плавники – пароходы.
Наши крылья – аэроплан.
Идти!
Лететь!

Проплыть!
Катиться! —
всего мироздания проверяя реестр.
Нужная вещь —
хорошо,
годится.
Ненужная —
к черту!
Черный крест.
Мы
тебя доконаем,
мир-романтик!
Вместо вер —
в душе
электричество,
пар.
Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!
Стар — убивать.
На пепельницы череп'а!
В диком разгроме
старое смыв,
новый разгр'омим
по миру миф.
Время-ограду
взломим ногами.
Тысячу радуг
в небе нагаммим.

В новом свете раскроются
поэтом опоганенные розы и грезы.
Всё
на радость
нашим
глазам больших детей!
Мы возьмем
и придумаем
новые розы —
розы столиц в лепестках площадей.
Все,
у кого
мучений клейма нажжены,
тогда приходите к сегодняшнему палачу.
И вы
узнаете,
что люди
бывают нежны,
как любовь,
к звезде вздымающаяся по лучу.
Будет
наша душа
любовных Волг слиянным устьем.
Будешь
— любой приплыви —
глаз сияньем облит.
По каждой
тончайшей артерии
пустим

поэтических вымыслов феерические корабли.

Как нами написано, —

мир будет таков

и в среду,

и в прошлом,

и ныне,

и присно,

и завтра,

и дальше

во веки веков!

За лето

столетнее

бейся,

пой: — «И это будет

последний

и решительный бой!»

— Залпом глоток гремим гимн!

Миллион плюс!

Умножим н'а сто!

По улицам!

На крыши!

За солнца!

В миры —

слов звонконогие гимнасты!

И вот

Россия

не нищий оборвыш,

не куча обломков,

не зданий пепел —
Россия
вся
единый Иван, и рука
у него —
Нева,
а пятки — каспийские степи.

Идем!
Идемидем!
Не идем, а летим!
Не летим, а молньимся,
души зефирами вымыв!
Мимо
баров и бань.
Бей, барабан!
Барабан, барабань!
Были рабы!
Нет раба!
Баарбей!
Баарбань!
Баарабан!
Эй, стальнoгрудые!
Крепкие, эй!
Бей, барабан!
Барабан, бей!
Или — или.
Пропал или пан!
Будем бить!

Бьем!
Били!
В барабан!
В барабан!
В барабан!

Революция
царя лишит царева званья.
Революция
на булочную бросит голод толп.
Но тебе
какое дам название, вся Россия, смерчем скрученная в
столб?!

Совнарком —
его частица мозга, —
не опередить декретам скач его.
Сердце ж было так его громоздко,
что Ленин еле мог его раскачивать.
Красноармейца можно отступить заставить,
коммуниста сдавить в тюремный гнет,
но такого
в какой удержишь заставе,
если
такой
шагнет?!

Гром разодрал побережий уши,
и брызги взметнулись земель за тридевять,
когда Иван,
шаги обрушив,

пошел
грозою вселенную выдвинуть.
В стремя фантазии ногу вденем,
дней оседлаем порох,
и сами
за этим блестящим виденьем
пойдем излучаться в несметных просторах.

Теперь
повернем вдохновенья колесо.
Наново ритма мерка.
Этой части главное действующее лицо —
Вильсон.
Место действия – Америка.

Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической.
Город в ней стоит
на одном винте,
весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14 000 улиц —
солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду н'а год.
Чудно человеку в Чикаго!

В Чикаго
от света
солнце
не ярче грошовой свечи.
В Чикаго,
чтоб брови поднять —
и то
электрическая тяга.
В Чикаго
на версты
в небо
скачут дорог стальные циркачи.
Чудно человеку в Чикаго!
В Чикаго
у каждого жителя
не менее генеральского чин.
А служба —
в барах быть,
кутить без забот и тягот.
Съестного
в чикагских барах
чего-чего не начудено!
Чудн'о человеку в Чикаго!
Чудн'о человеку!
И ч'удно!
В Чикаго
такой свирепеет грохот,
что грузовоз
с тысячесильной машиною

казался,
что ветрится тихая кроха, что он
прошелёстывал тишью мышиною.
Русских
в город тот
не везет пароход,
не для нас дворцов этажи.
Я один там был,
в барах ел и пил,
попивал в барах с янками джин.
Может, пустят и вас,
не пустили пока —
начиняйтесь же и вы чудесами —
в скороходах-стихах,
в стихах-сапогах
исход'ите Америку сами!
Аэростанция
на небоскребе.
Вперед,
пружина бока в дирижабле!
Сожмутся мосты до воробьих ребер.
Чикаго внизу
землею прижатен.
А после,
с неба,
видные еле, сорвавшись,
камнем в бездну спланируем.
Тоннелем в метро
подземные версты выроем

и выйдем на площадь.
Народом запружена.
Версты шириною с три.
Отсюда начинается то, что нам нужно: —
«Королевская улица» —
по-ихнему
— «Рояль-стрит».
Что за улица?
Что на ней стоит?

А стоит на ней —
Чипль-Стронг-Отель.
Да отель ли то
или сон?!
А в отеле том
в чистоте,
в теплоте сам живет
Вудро
Вильсон.
Дом какой — не скажу.
А скажу когда,
то покорнейше прошу не верить.
Места нет такого, отойти куда,
чтоб всего его глазом обмерить.
То,
что можно увидеть,
один уголок,
но и то
такая диковина!

Посмотреть, например,
на решетки клок —
из гущённого солнца кована.
А с боков обойдешь —
гора не гора!
Верст на сотни,
а может, на тыщи.
За седьмое небо зашли флюгера.
Да и флюгер
не богом ли чищен?
Тоже лестница там!
Не пойдешь по ней!
Меж колоночек,
балкончиков,
портиков
сколько в ней ступеней,
и не счесть ступне, —
ступеней этих самых
до чертиков!
Коль пешком пойдешь —
иди молодой!
Да и то
дойдешь ли старым!
А для лифтов —
трактиры по лестнице той,
чтоб не изголодались задаром.
А доехали —
если рады нам —
по пяти впускают парадным.

Триста комнат сначала гости идут.

Наконец дошли.

Какое!

Тут

опять начались покои.

Вас встречает лакей.

Булава в кулаке.

Так пройдешь лакеев пять.

И опять булава.

И опять лакей.

Залу кончишь —

лакей опять.

За лакеями

гуще еще

курьер.

Курьера курьер обгоняет в карьер.

Нет числа.

От числа такого

дух займет у щенка-Хлестакова.

И только

уставши

от страшных снований,

когда

не кажется больше,

что выйдешь,

а кажется,

нет никаких оснований,

чтоб кончилось это —

приемную видишь.

Вход отсюда прост —
в триаршинный рост
секретарь стоит в дверях нем.
Приоткроем дверь.
По ступенькам – (две) —
приподымемся,
взглянем,
ахнем! —
То не солнце днем —
цилиндрище на нем
возвышается башней Сухаревой.
Динамитом плюет
и рыгает о нем,
рыжий весь,
и ухаает ухарево.
Посмотришь в ширь —
йоркширом йоркшир!
А длина —
и не скажешь, какая длина,
так далеко от ног голова удалена!
То ль заряжен чем,
то ли с присвистом зуб,
что ни звук —
бух пушки.
Люди – мелочь одна,
люди ходят внизу,
под ним стоят,
как избушки.
Щеки ж

такой сверхъестественной мяготи,
что сами просятся —
придите,
лягте.

А одежда тонка,
будто вовсе и нет —
из тончайшей поэтовой неги она.

Кальсоны Вильсона
не кальсоны – сонет,
сажени из ихнего Онегина.

А работает как!
Не покладает рук.
Может заработать до см'ерти.

Вертит пальцем большим
большого вокруг.

То быстрее,
то медленней вертит.

Повернет —
расчет где-нибудь
на заводе.

Мне
платить не хотят построчной платы.

Повернет —
Штраусы вальсы заводят,
золотым дождем заливает палаты.

Чтоб его прокормить,
поистратили рупь.

Обкормленный весь,
оп'оенный.

И на случай смерти,
не пропал чтоб труп,
салотопки стоят,
маслобойни.

Все ему
американцы отданы,
и они
гордо говорят:

я —
американский подданный.

Я —
свободный
американский гражданин.

Под ним склоненные
стоят
его служащих сонмы.

Вся зала полна
Линкольнами всякими.
Уитмэнами, Эдисонами.

Свита его
из красавиц,
из самой отборнейшей знати.
Его шевеленья малейшего ждут.

Аделину

Патти
знаете?

Тоже тут!

В тесном смокинге стоит Уитмэн,
качалкой раскачивать в невиданном ритме.

Имея наивысший американский чин —
«заслуженный разглаживатель дамских морщин»,
стоит уже заgrimированный и в шляпе
всегда готовый запеть Шаляпин.

Паркет пылесом соря,
распычатые от старости стоят профессора.
Сам знаменитейший Мечников
стоит и снимает нагар с подсвечников.

Конечно,
ученых
сюда
привел
теорий потоп.
Художников
какое-нибудь
великолепнейшее
экольдебозар.1
Ничего подобного!

Все
сошлись,
чтоб
ходить на базар.
Ежеутренне
все эти
любимцы муз и слав
нагрузятся корзинами,
идут на рынок
и несут,
несут

мяс'а,
масла'.

Какой-нибудь король поэтов
Лонгфелло
сто волочит со сливками крынок.

Жрет Вильсон,
наращивает жир,
растут животы,
за этажом этажи.

Небольшое примечание:

Художники
Вильсонов,
Ллойд-Джорджев,
Клемансо
рисуют —
усатые,
безусые рожи —
и напрасно:
всё
это
одно и то же.

**Теперь
довольно смеющихся глав нам.
В уме
Америку
ясно рисуете.
Мы переходим
к событиям главным.**

**К невероятной,
к гигантской сути.**

День

этот

был

огнеупорный.

В разливе зноя з'емли тихли.

Ветр'ов иззубренные бороны

вотще старались воздух взрыхлить.

В Чикаго

жара непомерная:

градусов 100,

а 80 – наверное.

Все на пляже.

Кто могли – гуляли себе.

А в большей части лежали даже.

Пот

благоухал

на их холеном теле.

Ходили и пыхтели.

Лежали и пыхтели.

Барышни мопсиков на цепочках водили,

и мопсик

раскормленный был,

как теленок.

Даме одной,

дремавшей в идиллии,

в ноздрю

сжаревший влетел мотыленок.
Некоторые вели оживленные беседы,
говорили «ах»,
говорили «ух».

С деревьев слетал пух.
Слетал с деревьев мимозовых.

Розовел
на белых шелках и кисеях.
Белел на розовых.

Так
довольно долго все занимались
приятным времяпрепровождением.

Но уже
час тому назад
стало кое-что
меняться.

Еле слышное,
разве только что кончиком души,
дуновение какое-то.

В безветренном море
ширятся всплески.

Что такое?

Чего это ради ее?

А утром
в молнийном блеске

АТА

(Американское Телеграфное Агентство)

город таким шарахнуло радио:

«Страшная буря на Тихом океане.

Сошли с ума муссоны и пассаты.
На Чикагском побережье выловлены рыбы.
Очень странные.
В шерстях.
Носатые».
Вылазили сонные,
не успели еще обсудить явление,
а радио
спешные
вывешивало объявления:
«Насчет рыб ложь.
Рыбак спьяну местный.
Муссоны и пассаты на месте.
Но буря есть.
Даже еще страшней.
Причины неизвестны».
Выход судам запретили большие,
к ним
присоединились
маленькие пароходные
компанийки.
Доллар пал.
Чемоданы нарасхват.
Биржа в панике.
Незнакомо-го
на улице
останавливали незнакомые —
не знает ли чего человек со стороны.
Экстренный выпуск!

Радио!
Выпуск экстренный!
«Радиограмма переврана.
Не бурь раскат.
Другое.
Грохот неприятельских эскадр».
Радио расклеили.
И, опровергая оное,
сейчас же
новое,
последнее,
захватывающее,
сенсационное.
«Не пушечный дым —
океанская синева.
Нет ни броненосцев,
ни флотов,
ни эскадр.
Ничего нет. Иван».
Что Иван?
Какой Иван?
Откуда Иван?
Почему Иван?
Чем Иван?
Положения не было более запутанного.
Ни одного объяснения
достоверного,
путного.
Сейчас же собрался коронный совет.

Всю ночь во дворце беспокоился свет.

Министр Вильсона

Артур Крупп

заговорился так,

что упал, как труп.

Капитализма верный трезор,

совсем умаялся сам Крезо.

Вильсон

необычайное

проявил упорство

и к утру

решил —

иду в единоборство.

Беда надвигается.

Две тысячи верст.

Верст за тысячу.

З'а сто.

И...

очертанья идущего

нащупали,

заметили,

увидели маяки глазастые.

Строки

этой главы,

гремите,

время ритмом роя!

В песне —

миф о героях Гомера,

**история Трои,
до неузнаваемости раздутая,
воскресни!**

Голодный,
с теплом в единственный градус
жизни,
как милости д'аренной,
радуюсь,
ход твой следя легендарный.
Куда теперь?
Где пеш?
Какими идешь морями?
Молнию рвущихся депеш
холодным стихом срашим.
Ворвался в Дарданеллы Иванов разбег.
Турки
с разинутыми ртами
смотрят:
человек —
голова в Казбек! —
идет над Дарданелльскими фортами.
Старики улизнули.
Молодые на мол.
Вышли.
Песни бунта и молодости.
И лишь
до берега вал домёл,
и лишь волною до мола достиг —

бросились,
будто в долгожданном сигнале,
человек на человека,
класс на класс.
Одних короновали.
Других согнали.
Пешком по морю —
и скрылись из глаз.
Других глотает морская ванна,
другими
акула кровавая кутит,
а эти
вошли,
ввалились в Ивана
и в нем разлеглись,
как матросы в каюте.
(А в Чикаго
ничто не сулило пока
для чикагцев страшный час.
Изогнувшись дугой,
оттопырив бока,
веселились,
танцами мчась.)
Замерли римляне.
Буря на Тибре.
А Тибр,
взъярясь,
папе римскому голову выбрил
и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь.

(А в Чикаго
усы в ликеры вваля,
выступ мяса облапив бабистый, —
Илл-ля-ля!
Олл-ля-ля! —
процелованный,
взголённый,
разухабистый.)
Черная ночь.
Без звездных фонарей.
К Вильсону,
скользя по водным массам,
коронованный поэтами
крадется Рейн,
слегка посвечивая голубым лампасом.
(А Чикаго
спит,
обтанцован,
спит,
рыхотелье подушками выходя.
Синь уснула.
Сопит.
Море храпом храпит.
День встает.
Не расплатой на них ли?)
Идет Иван,
сиянием брезжит.
Шагает Иван,
прибоями брызжет.

Бежит живое.
Бежит, побережит.
Вулканом мир хорохорится рыже.
Этого вулкана нет на
составленной старыми географами карте.
Вселенная вся,
а не жалкая Этна,
народов лавой брызжащий кратер.
Ревя, несется
странами стертыми
живое и мертвое
от ливня лав.
Одни к Ивану бегут
с простертыми
руками,
другие – к Вильсону стремглав.
Из мелких фактов будничной тины
выявился факт один:
вдруг
уничтожились все середины —
нет на земле никаких средин.
Ни цветов,
ни оттенков,
ничего нет —
кроме
цвета, красящего в белый цвет,
и красного,
кровавящего цветом крови.
Багровое все становилось багр'овой.

Белое все белей и белее.

Иван

через царства

шагает по крови,

над миром справляя огней юбилей.

Выходит, что крепости строили даром.

Заткнитесь, болтливые пушки!

Баста!

Над неприступным прошел Гибралтаром.

И мир

океаном Ивану распластан.

(А в Чикаго

на пляже

выводок шлюх

беснованием моря встревожен.

Погоняет время за слухом слух,

отпустив небылицам вожжи.)

Какой адмирал

в просторе намытом

так пути океанские выучит?!

Идет,

начиненный людей динамитом.

Идет,

всемирной злобою взрывчат.

В четыре стороны расплылось

тихоокеанское лоно.

Иван

без карт,

без компасной стрелки

шел
и видел цель неуклонно,
как будто
не с моря смотрел,
а с тарелки.
(А в Чикаго
до Вильсона
докатился вал,
брошенный Ивановой ходьбою.
Он боксеров,
стрелков,
фехтовальщиков сзывал,
чтобы силу наяривать к бою.)
Вот так открыватели,
так Колумбы
сияли,
когда
Ивану
до носа —
как будто
с тысячезапахой клумбы —
земли приближавшейся запах донесся.
(А в Чикаго
боксеров
распирает труд.
Положили Вильсона наземь
и...
ну тереть!
Натирают,

трут,
растирают силовыми мазями.)
Сверльнуло глаз'а маяка одноглазье —
и вот
в мозги,
в глаза,
в рот,
из всех океанских щелей вылазя,
Америка так и прет и прет.
Взбиралась с разбега верфь на верфь.
На виадук взлетал виадук.
Дымище такой,
что, в черта уверовав,
идешь, убежденный,
что ты в аду.
(Где Вильсона дряблость?
Сдули!
Смолодел на сорок годов.
Животами мышцы вздулись,
Ощупали.
Есть.
Готов.)
Доходит,
пенной волну опеня,
гигантам-домам за крыши замча,
на берег выходит Иван
в Америке,
сухенький,
даже ног не замоча.

(Положили Вильсону последний заклеп
на его механический доспех,
шлем ему бронированный возвели на лоб,
и к Ивану он гонит спех.)

Чикагцы

себя

не любят

в тесных улицах площадь.

И без того

в Чикаго

площади самые лучшие.

Но даже

для чикагцев непомерная

площадь

была приготовлена для этого случая.

Люди,

место схватки ораив,

пускай непомерное! —

сузили в узел.

С одной стороны —

с горностаем,

с бобрами,

с другой —

синевели в замасленной блузе.

Лошади

в кашу впутались

в ту же.

К бобрам —

арабский скакун,

к блузам —
тяжелые туши битюжьи.
Вздымают ржанье,
грозят рысаку.
Машины стекались, скользя на мази.
На классы разбился
и вывоз
и ввоз.
К бобрам
изящный ушел лимузин,
к блузам
стал
стосильный грузовоз.
Ни песне,
ни краске не будет отсрочки,
бой вас решит – судия строгий.
К бобрам —
декадентов всемирных строчки.
К блузам —
футуристов железные строки.
Никто,
никто не избегнет возмездья —
звезде,
и той
не уйти.
К бобрам становитесь,
генералы созвездья,
к блузам —
миллионы Млечного Пути.

Наружу выпустив скованные лавины,
земной шар самый
на две раскололся полушарий половины
и, застыв,
на солнце
повис весами.

Всеми сущими пушками
над
площадью объявлен был «чемпионат
всемирной классовой борьбы!».

В ширь
ворота Вильсону —
верста,
и то он боком стал
и еле лез ими.

Сапожищами
подгибает бетон.
Чугунами гремит,
железами.

Во Ивана входящего вперился он —
осмотреть врага,
да нечего
смотреть —
ничего,
хорошо сложен,
цветом тела в рубаху просвечивал.

У того —
револьверы
в четыре курка,

сабля
в семьдесят лезвий гнута,
а у этого —
рука
и еще рука,
да и та
за пояс ткнута.
Смерил глазом.
Смешок по усам его.
Взвил плечом шитье эполетово:
«Чтобы я —
о господи! —
этого самого?
Чтобы я
не смог
вот этого?!»
И казалось —
растет могильный холм
посреди ветров обываний.
Ляжет в гроб, и отныне
никто,
никогда,
ничего
не услышит
о нашем Иване.
Сабля взвизгнула.
От плеча
и вниз
на четыре версты прорез.

Встал Вильсон и ждет —
кровь должна б,
а из
раны
вдруг
человек полез.

И пошло ж идти!

Люди,
дома,
броненосцы,
лошади
в прорез пролезают узкий.

С пением лезут.

В музыке.

О горе!

Прислали из северной Трои
начиненного бунтом человека-коня!

Метались чикагцы,
о советском строе
весть по оторопевшим рядам гоня.

**Товарищи газетчики,
не допытывайтесь точно,
где была эта битва
и была ль когда.**

**В этой главе
в пятиминутье всредоточены
бывших и не бывших битв года.**

Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы, миллионы пою.
Внимайте же, историки и витии,
битв не бывших видевшему перипетии!
«Вставай, проклятьем заклеянный» —
радостная выстрелила весть.
В ответ
миллионный
голос:
«Готово!»
«Есть!»
«Боже, Вильсона храни.
Сильный, державный», —
они голос подняли ржавый.
Запела земли половина красную песню.
Земли половина белую песню запела.
И вот
за песней красной,
и вот
за песней за белой —
тараны затарахтели в запертое будущее,
лучей щетины заскребли,
замели.
Руки разрослись,
легко распутывающие
неведомые измерения души и земли.
Шарахнутые бунта веником

лавочники,
не доведя обычный торг,
разбежались ошпаренным муравейником
из банков,
магазинов,
конторок.

На толщъ душивших набережных и дамб
к городам
из океанов
двинулась вода.

Столбы телеграфные то здесь,
то там
соборы вздергивали на провода.
Бросив насиженный фундамент,
за небоскребом пошел небоскреб,
как тигр в зверинце —

мясо
фунтами,
пастью ворот особнячишки сгреб.

Сами себя из мостовых вынув, —
где, хозяин, лбище твой? —
в зеркальные стекла бриллиантовых магазинов
бросились булыжники мостовой.

Не боясь сестъ на мель,
не боясь на колокольни напороть туши,
просто —

как мы с вами —
шагали киты сушей.
Красное все

и все, что б'ело,
билось друг с другом,
билось и пело.
Танцевал Вильсон
во дворце кэк-уок,
заворачивал задом и передом,
да не доделала нога экивок,
в двери смотрит Вильсон,
а в дв'ери там —
непоколебимые,
походкой зловещею,
человек за человеком,
вещь за вещью
вваливаются в дверь в эту:
«Господа Вильсоны,
пожалте к ответу!»
И вот,
притворявшиеся добрыми,
колье
на Вильсоних
бросились кобрами.
Выбирая,
которая помягче и почище,
по гостиным
за миллиардершами
гонялись грузовичищи.
Не убежать!
Сороконогая
мебель раскинула лов.

Топтала людей гардеробами,
протыкала ножками столов.
Через Рокфеллеров,
валяющихся ничком,
с горлами,
сжимаемыми собственным воротничком,
растоптав,
как тараканов, вывалилась,
в Чикаго канув.

По улицам
в саж'ени
дома не видно от дыма сражений.
Как в кинематографе
бывает —
вдруг
крупно —
видят:
сквозь ха'ос
ползущую спекуляцию добивает,
встав на задние лапы,
Совнархоз.
Но Вильсон не сдается,
засел во дворце,
нажимает золотые пружины,
и выстраивается цепь —
нечеловеческие дружины.
Страшней, чем танки,
чем войск роты,
безбрюхий встал,

пошел сторотый,
милionoзубый
ринулся голод.
Город грызнет – орехом расколот.
Сгреб деревню – хрустнула косточкой.
А людей,
а людей и зверей —
просто в рот заправляет горсточкой.
Впереди его,
вывострив ухо,
путь расчищая, лезет разруха.
Дышит завод.
Разруха слышит.
Слышит разруха – фабрика дышит.
Грохнет по фабрике —
фабрика свалена.
Сдавит завод —
завод развалина.
Рельс обломком крушит, как палицей.
Все разрушается,
гибнет,
валится.
Готовься!
К атаке!
Трудись!
Потей!
Горло голода,
разрухи глотку
затянем

петлей железнодорожных путей!
И когда пресекаться дух стран
стал,
голодом сперт,
тогда,
раскачивая поездов таран,
двинулся вперед транспорт.
Ветрилась паровозов борода седая,
бьются,
голод сдал,
и по нем,
остатки съедая,
груженные хлебом прошли поезда.
Искорежился, —
и во гневе
Вудро,
приказав:
«Сразите сразу»,
новых воинов высылает рой —
смертоноснейшую заразу.
Идут закованные в грязевые брони
спирохет на спирохете,
вибрион на вибрионе.
Ядом бактерий,
лапами вшей
кровь поганят,
ползут за шей.
Болезни явились
небывалого фасона:

вдруг
человек
становится сонный,
высыпает ряб'о,
распухает
и лопается грибом.
Двинулись,
предводимые некою
радугоглазой аптекою,
бутыли карболочные выдвинув в бойницы,
лазареты,
лечебницы,
больницы.
Вши отступили,
сгрудились скопом.
Вшей
в упор
расстреливали микроскопом.
Молотит и молотит дезинфекции цеп.
Враги легли,
ножки задрал.
А поверху,
размахивая флаг-рецепт,
прошел победителем мировой Наркомздрав,
Вырывается у Вильсона стон, —
и в болезнях побит и в еде,
и последнее войско высылают он
ядовитое войско идей.
Демократизмы,

гуманизмы —
идут и идут
за измами измы.
Не успеешь разобраться,
чего тебе нужно,
а уже
философией
голова заталмужена.
Засасывали романсов тиной.
Пением заворачивали.
Завлекали картиной.
Пустые головы
книжками
для веса нагрузив,
пошел за профессором профессор.
Их
молодая встретила орава,
и дулам браунингов в провал
рухнуло римское право
и какие-то еще права.
Простонародью очки втирая,
адам пугая,
прельщая раем,
и лысые, как колено,
и мохнатые, как звери,
с евангелиями вер,
с заговорами суеверий,
рясами вздыбив пыль,
армией двинулись черно-белые попы.

Под градом декретов
от красной лавины
рассыпались
попы,
муллы,
раввины.

А ну, чудотворцы,
со смертных одр
встаньте-ка!

На месте кровавого спора
опора веры валяется —

Петр
с проломанной головой собственного собора.

Тогда
поэты взлетели н'а небо,
чтоб сверху стрелять, как с аэроплана бы.

Их
на приманку академического пайка
заманивали,
ждали, не спустятся пока.

Поэты бросались, камнем пав, —
в работу их,
перья рифм ощилав!

В «Полное собрание сочинений»,
как в норки
классики забились.

Но жалости нет!

Напрасно
их

наседкой
Горький
прикрыл,
распустив изношенный авторитет.
Фермами ног отмахивая мили,
кранами рук расчищая пути,
футуристы
прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти.
Стенкой в стенку,
валяясь в п'ыли,
билась с адмиралтейством
Лувра труха,
пока
у адмиралтейства
на штыке-шпиле
не повисли Лувра картинные потроха.
Последняя схватка.
Сам Вильсон.
И в ужасе видят вильсонцы —
испепелен он,
задом придавить пытавшийся солнце.
Кто вспомнит безвестных главковерхов имя,
победы громоздивших одна на одну?!
Загрохотав в международной Цусиме,
эскадра старья пошла ко дну.
Фабриками попирая прошедшего труп,
будущее загорланило триллионом труб:
«Авелем называйте нас

или Каином,
разница какая нам!
Будущее наступило!
Будущее победитель!
Эй, века,
на поклон идите!»
Горизонт перед солнцем расступился злоч.
И только что
мира пол зажавший,
Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши.

**История,
в этой главе
как на ладони бег твой.
Голодая и ноя,
города расступаются,
и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.**

Год с нескончаемыми нулями.
Праздник, в святцах
не имеющий чина.
Выфлажено все.
И люди
и строения.
Может быть,
Октябрьской революции сотая годовщина,
может быть,

просто
изумительнейшее настроение.
Разгоняя дирижабли небесам под уклон,
поездами,
на палубах бесчисленных эскадр,
извилинами пеших колонн
за кадром выстраивают человеческий кадр.
Большеголовые,
в красном сиянье,
с Марса слетевшие, встали марсияне.
Взыграет аэро,
и снова нет.
И снова птицей солнце заслонится.
И снова
с отдаленнейших слетаются планет,
винтами развеерясь из-за солнца.
Пустыни смыты у мира с хари,
деревья за стволом расфеерили ствол.
На площади зелени —
на бывшей Сахаре —
сегодня
ежегодное торжество.
День за днем спускались дни,
и снова густела тьма ночная.
Прежде чем выстроиться сумев,
они
грянули:
— Начинаем!
«Голоса людские,

зверьи голоса,
рев рек
ввысь славословием вьем.
Пойте все, и все слушайте
мира торжественный реквием.
Вам, давнишние,
года проголодавшие,
о рае сегодняшнем раструбливая весть,
вам,
миллионолетию давшие
петь,
пить,
есть.
Вам, женщины,
рожденные под горностаевые
мантии,
тело в лохмотья рядя,
падавшие замертво,
за хлебом простаивая
в неисчислимых очередях.
Вам,
легионы жидкокостных детей,
толпы искривленной голодом молодежи,
те, кто дожили до чего-то,
и те,
кто ни до чего не д'ожил.
Вам,
звери,
ребрами сквозя,

забывшие о съеденном людьми овсе,
работавшие, кого-то и что-то возя,
пока исхлестанные не падали совсем.

Вам,

расстрелянные на баррикадах духа,
чтоб дни сегодняшние были пропеты,
будущее ловившие в ненасытное ухо,
маляры,

певцы,

поэты.

Вам, которые

сквозь дым и чад,

жизнью, едва державшейся на иотке,
ржавым железом, шестерней скрежеща,
работали все-таки,
делали все-таки.

Вам неумолкающих слав слова,

ежегодно расцветающие, вовеки не вянув,

за нас замученные — слава вам,

миллионы живых,

кирпичных

и прочих Иванов».

Парад мировой расходился ровно, —

ведь горе давнишнее душу не бесит.

Годами

печаль

в покой воркестрована

и песней брошена ввысь поднебесить.

Еще гудят голосов отголоски

про смерти чьи-то,
про память вечную.
А люди
уже
в многоуличном лоске
катили минуту, весельем расцветенную.
Ну и катись средь песенного лада,
цвети, земля, в молотье и в сеятьбе.
Это тебе
революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!

1919-1920

ЛЮБЛЮ

ОБЫКНОВЕННО ТАК

Любовь любому рожденному дадена, —
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело – рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожа.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.

МАЛЬЧИШКОЙ

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трусами муштровано.
А я —
убёг на берег Риона
и шлёлся,
ни черта не деляя ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатъём под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Ввращивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не занает.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!»
А тоже —

с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стоверстым скалам?!»

ЮНОШЕЙ

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.

Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазнаются.
«Чего – мол – стоят лученышки эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы – все на свете.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Французский знаете.
Делите.
Множите.
Склоняете чудно.
Ну и склоняйте!
Скажите —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человеческий,

чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.

И вся она — с крохотный глобус.

А я
боками учил географию —
недаром же
наземь
ночевкой хлопаюсь!

Мутят Иловайских большие вопросы:
— Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!

Не копаюсь в пропыленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —
фамилья ж против,
скулит родовая.

Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.
Научатся,

сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбенками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши – что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая – флюгер.

ВЗРОСЛОЕ

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный

в карман засунул
и шлялся, глазастый.

Ночь.

Надеваете лучшее платье.

Душой отдыхаете на женах, на вдовах.

Меня

Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.

В сердца,

в часишки

любовницы тикают.

В восторге партнеры любовного ложа.

Столиц сердцебиение дикое

ловил я,

Страстною площадью лежа.

Враспашку —

сердце почти что снаружи —

себя открываю и солнцу и луже.

Входите страстями!

Любовями влазьте!

Отныне я сердцем править не властен.

У прочих знаю сердца дом я.

Оно в груди — любому известно!

На мне ж

с ума сошла анатомия.

Сплошное сердце —

гудит повсеместно.

О, сколько их,

одних только весен,

за 20 лет в распаленного ввалено!
Их груз нерастраченный – просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

ЧТО ВЫШЛО

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно сложен —
и все же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться —

некуда, кажется – полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

ЗОВУ

Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом, —
дамьё
от меня

ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго бы...»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

ТЫ

Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —

где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница!
Должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

НЕВОЗМОЖНО

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:

«Богаты без края мы.
Карманов не хватает —
кладем в несгораемый».
Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полночи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

ТАК И СО МНОЙ

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
— я же люблю! —
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь

подвалом своим любоваться и рыться.

Так я

к тебе возвращаюсь, любимая.

Мое это сердце,

любуюсь моим я.

Домой возвращаетесь радостно.

Грязь вы

с себя соскребаετε, бреясь и моясь.

Так я

к тебе возвращаюсь, —

разве,

к тебе идя,

не иду домой я?!

Земных принимает земное лоно.

К конечной мы возвращаемся цели.

Так я

к тебе

тянусь неуклонно,

еле расстались,

развиделись еле.

ВЫВОД

Не смоят любовь

ни ссоры,

ни версты.

Продумана,
выверена,
проверена.

Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

1922

IV ИНТЕРНАЦИОНАЛ

I

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАЯКОВСКОГО ЦК РКП, ОБЪЯСНЯЮЩЕЕ НЕКОТОРЫЕ ЕГО, МАЯКОВСКОГО, ПОСТУПКИ

2

Были белые булки.

Более

звезд.

Маленькие.

И то по фунту.

А вы

уходили в подполье,

готовясь к голодному бунту.

Жили, жря и ржа.

Мир

в небо отелями вылез,

лифт франтих винтил по этажам спокойным.

А вы

в подпольи таились,
готовясь к грядущим войнам.
В креслах времен
незыблем
капитализма зад.
Жизнь
стынет чаем на блюде.
А вы —
уже! —
смотрели в глаза
атакующим дням революций.
Вывернувшись с изнанки,
выкрасив бороду,
гоняли изгнанники
от города к городу.

В колизеи душ,
в стадионы-головы,
еле-еле взнеся их в парижский чердак,
собирали в цифры,
строили голь вы
так —
притекшие человечьей кашей
с плантаций,
с заводов —
обратно
шагали в марше
стройных рабочих взводов.
Фарами фирмы марксовой

авто диалектики врезалось в года.
Будущее рассеивало мрак свой.

И когда
Октябрь
пришел и залил,
огневой галоп,
казалось,
не взнуздает даже дым,
вы
в свои
железоруки
взяли
революции огнедымые бразды.
Скакали и прямо,
и вбок,
и криво.
Кронштадтом конь.
На дыбы.
Над Невою.
Бедой Ярославля горит огнегривый.
Царицын сковал в кольцо огневое.
Гора.
Махнул через гору —
и к новой.
Бездна.
Взвился над бездной —
и к бездне.
До крови с-под ногтя

в загривок конёвый
вцепившийся
мчался и мчался наездник.

Восторжен до крика,
тревожен до боли,
я тоже
в бешеном темпе галопа
по меди слов языком колоколил,
ладонями рифм торжествуя хлопал.

Доскакиваем.
Огонь попритушен.
Чадит мещанство.
Дымится покамест.
Но крепко
на загнанной конской туше
сидим,
в колени зажата боками.

Сменили.
Битюг трудовой.
И не мешкая,
мимо развалин,
пожарищ мимо мы.
Головешку за головешкою
притушим,
иными развеясь дымами.

Во тьме
без пути
по развалинам лазая,
твой конь дрожит,
спотыкается тычась твой.
Но будет:
Шатурское
тысячеглазое
пути сияньем прозрит электричество.
Пойди,
битюгом Россию промеряй-ка!
Но будет миг,
верую,
скоро
у нас
паровозная встанет Америка.
Высверлит пулей поля и горы.
Въезжаем в Поволжье,
корезит вид его.
Костями устелен.
Выжжен.
Чахл.
Но будет час
жития сытого,
в булках,
в калачах.

И тут-то вот
над земною точкою

загнулся огромнейший знак вопроса.

В грядущее

тыкаюсь

пальцем-строчкой,

в грядущее

глазом образа вросся.

Коммуна!

Кто будет пить молоко из реки ея?

Кто берег-кисель расхлебает опоем?

Какие их мысли?

Любови какие?

Какое чувство?

Желанье какое?

Сейчас же,

вздымая культурнейший вой,

патент старье коммуне выдало:

«Что будет?

Будет спаньем,

едой

себя развлекать человечье быдло.

Что будет?

Асфальтом зальются улицы.

Совдепы вычинят в пару лет.

И в праздник

будут играть

пролеткультцы

в сквере

перед совдепом

в крокет.

Свистит любой афиши плеть:
– Капут Октябрю!
Октябрь не выгорел! —
Коммунисты
толпами
лезут млеть
в Онегине,
в Сильве,
в Игоре.
К гориллам идете!
К духовной дырке!
К животному возвращаетесь вспять!
От всей
вековой
изошренной лирики
одно останется:
– Мужчина, спать! —
В монархию,
В коммуны ль мещанина выселим мы.
И в городе-саде ваших дач
он будет
одинаково
работать мыслью
только над счетом кухаркиных сдач.
Уже настало.
Смотрите —
вот она!
На месте ваших вчерашних чаяний
в кафах,

нажравшись пироженью рвотной,
коммуну славя, расселись мещане.
Любовью
какой обеспечит Собес?!
Семашко ль поможет душ калекам?!»

Довольно!
Мы возьмемся,
если без
нас
об этом подумать некому.

Каждый омолаживайся!
Спеши
юн
душу седую из себя вытрясти.
Коммунары!
Готовьте новый бунт
в грядущей
коммунистической сытости.

Во имя этого
награждайте Академиком
или домом —
ни так
и ни даром —
я не стану
ни замом,
ни предом.

ни помом,
ни даже продкомиссаром.
Бегу.
Растет
за мной,
эмигрантом,
людей и мест изгонявших черта.
Знаю:
придет,
взбарабаню,
и грянет там...
Нынче ж
своей голове
на чердак
загнанный,
грядущие бунты славлю.
В марксову диалектику
стосильные
поэтические моторы ставлю.
Смотрите —
ряды грядущих лет текут.
Взрывами мысли головы содрогая,
артиллерией сердец ухая,
встает из времен
революция другая —
третья революция
духа.

Штык-язык оstri и три!

Глаза на прицел!
На перевес уши!
Смотри!
Слушай!
Чтоб душу врасплох не смяли,
чтоб мозг не опрокинули твой —
эй-ка! —
Смирно!
Ряды вздвой,
мысль-красногвардейка.
Идите все
от Маркса до Ильича вы,
все,
от кого в века лучи.
Вами выученный,
миры величавые
вижу —
любой приходи и учись!

1922

ПЯТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

8 ЧАСТЕЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Приказ № 3

Прочесть по всем эскадрильям футуристов, крепостям классиков, удушливогазным командам символистов, обозам реалистов и кухонным командам имажинистов.

Где еще

– разве что в Туле? —

позволительно становиться на поэтические ходули?!

Провинциям это!..

«Ах, как поэтично...

Как возвышенно...

Ах!»

Я двадцать лет не ходил в церковь.

И впредь бывать не буду ни в каких церквях.

Громили Василия Блаженного.

Я не стал теряться.

Радостный,
вышел на пушечный зов.
Мне ль
Вычеканивать венчики аллитераций
богу поэзии с образами образов.
Поэзия – это сиди и над розой ной...

Для меня
Невыносима мысль,
Что роза выдумана не мной.

Я 28 лет отращаю мозг
не для обнюхивания,
а для изобретения роз.

Надс'оны,
не в ревность
над вашим сонмом
эта
моя
словостройка взвеена.

Я стать хочу
в ряды Эдисонам,
Лениным в ряд,
в ряды Эйнштейнам.

Я обкармливал.
Я обкармливался деликатесами досыта.
Ныне —
мозг мой чист.
Язык мой гол.
Я говорю просто —

фразами учебника Марго.

Я

поэзии

одну разрешаю форму:

краткость,

точность математических формул.

К болтовне поэтической я слишком привык, —

я еще говорю стихом, а не напрямик.

Но если

я говорю:

«А!» —

это «а»

атакующему человечеству труба.

Если я говорю:

«Б!» —

это новая бомба в человеческой борьбе.

Я знаю точно — что такое поэзия. Здесь описываются мною интереснейшие события, раскрывшие мне глаза. Моя логика неоспорима. Моя математика непогрешима.

Внимание!

Начинаю.

Аксиома:

Все люди имеют шею.

Задача:

Как поэту пользоваться ею?

Решение:

Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом.
Фундамент есть.
Начало благополучно.
По сравнению с Гершензоном даже получается научно.
Я и начал!
С настойчивостью Леонардо да Винчевою,
закручу,
раскручу
и опять довинчиваю,
(Не думаю,
но возможно,
что это
немного
похоже даже на самоусовершенствование йога.)

Постепенно,
практикуясь и тужась,
я шею так завинтил,
что просто ужас.
В том, что я сказал,
причина коренится,
почему не нужна мне никакая граница.
Ехать в духоте,
трястись,
не спать,
чтоб потом на Париж паршивый пялиться?!
Да я его и из Пушкина вижу,

как свои
пять пальцев.
Мой способ дешевый и простой:
руки в карманы заложил и стой.
Вставши,
мысленно себя вытягивай за уши.
Так
через год
я
мог
шею свободно раскручивать на вершок.
Прохожие развозмущались.
Потом привыкли.
Наконец,
и смеяться перестали даже —
мало ли, мол, какие у футуристов бывают блажи.
А с течением времени
пользоваться даже стали —
при указании дороги.
«Идите прямо, —
тут еще стоят такие большие-большие ноги.
Ноги пройдете, и сворачивать пора —
направо станция,
налево Акулова гора».

Этой вот удивительной работой я был занят чрезвычайно
долгое время.

Я дней не считал.

И считать на что вам!

Отмечу лишь:

сквозь еловую хвою,

года отшумевши с лесом мачтовым,

леса перерос и восстал головою.

Какой я к этому времени —

даже определить не берусь.

Человек не человек,

а так —

людогусь.

Как только голова поднялась над лесами,

обозреваю окрестности.

Такую окрестность и обозреть лестно.

Вы бывали в Пушкине (Ярославская ж. д.) так в 1925-30 году? Были болота. Пахалось невесть чем. Крыши — дыры. Народ крошечный. А теперь!

В красных,

в зеленых крышах сёла!

Тракторы!

Сухо!

Крестьянин веселый!

У станции десятки линий.

Как только не путаются —

не вмещает ум.

Станция помножилась на 10 — минимум.

«Серьезно» —

поздно

является.

Молодость – известное дело – забавляется.

Нагибаюсь.

Глядя на рельсовый путь,
в трубу паровозу б сверху подуть.

Дамы мимо.

Дым им!

Дамы от дыма.

За дамами дым.

Дамы в пыль!

Дамы по луже.

Бегут.

Расфыркались.

Насморк верблюжий.

Винти дальше!

Пушкино размельчилось.

Исчезло, канув.

Шея растягивается

– пожарная лестница —

голова

уже,

разве что одному Ивану

Великому

ровесница.

Москва.

Это, я вам доложу, – зрелище. Дом'а. Дома необыкновен-

ных величин и красот.

Помните,
дом Нирензее
стоял,
над лачугами крышищу взвеивая?
Так вот:
теперь
под гигантами
грибочком
эта самая крыша Нирензеевая.

Улицы циркулем выведены. Электричество ожерельями
выложило булыжник. Диадемищами горит в театральных
лбах. Горящим адрес-календарем пропечатывают ночь ре-
кламы и вывески. Из каждой трубы – домовьей, пароходной,
фабричной – дым. Работа. Это Москва – 940-950 года во
всем своем великолепии.

Винти!

Водопьяный переулок разыскиваю пока,
Москва стуманилась.
Ока змейнула.
Отзмеилась Ока.

Горизонт бровями лесными хмурится.
Еще винчусь.
Становища Муромца

из глаз вон.
К трем морям
простор
одуряющ и прям.
Волга,
посредине Дон,
а направо зигзагища Днепра.

До чего ж это замечательно!

Глобус – и то хорошо. Рельефная карта – еще лучше. А здесь живая география. Какой-нибудь Терек – жилкой трепещет в дарьяльском виске. Волга игрушечная переливается фольгой. То розовым, то голубым акварелит небо хрусталик Араратика.

Даже размечтался – не выдержал.

Воздух
голосом прошлого
ветрится басов...
Кажется,
над сечью облачных гульб
в усах лучей головища Тарасов Бульб.

Еще развинчиваюсь,
и уже
бежит

глаз
за русские рубежи.

Мелькнули
валяющиеся от войны дробилки:
Латвии,
Литвы
и т. п. политические опилки.
Гущей тел искалеченных, по копиям скрученным,
тяжко,
хмуро,
придавленная версальскими печатями сургучными,
Германия отрабатывается на дне Рура.
На большой Европейской дороге,
разбитую челюсть
Версальским договором перевязав,
зубами,
нож зажавшими, щерясь,
стоит француз-зуав.

Швейцария.
Закована в горный панцирь.
Италия...
Сапожком на втором планце...
И уже в тумане:
Испания...
Испанцы...
А потом океан — и никаких испанцев.

Заворачиваю шею в полоборотца.
За плечом,
ледниками ляская —
бронзовая Индия.
Встает бороться.
Лучи натачивает о горы Гималайские,
Поворачиваюсь круто.
Смотрю очумело.
На горизонте Япония,
Австралия,
Англия...
Ну, это уже пошла мелочь.

Я человек ужасно любознательный. С детства.

Пользуюсь случаем —
полюсы
полез осмотреть получше.
Наклоняюсь настолько низко,
что нос
мороз
выдергивает редиской.

В белом,
снегами светящемся мире
Куки,
Пири.
Отвоевывают за шажками шажок, —
в пуп земле

наугад
воткнуть флажок.
Смотрю презрительно,
чуть не носом тыкаясь в ледовитые пятна —
я вот
полюсы
дюжинами б мог
открывать и закрывать обратно.
Растираю льдышки обмороженных щек.
Разгибаюсь.
Завинчиваюсь еще.
Мира половина —
кругленькая такая —
подо мной,
океанами с полушария стекая.
Издали
совершенно вид апельсиный;
только тот желтый,
а этот синий.

Раза два повернул голову полным кругом. Кажется, все
наиболее интересные вещи осмотрены.

Ну-с,
теперь перегнусь.
Пожалуйста!
Нате!
Соединенные
штат на штате.

Надо мной Вашингтоны,
Нью-Йорки.

В дыме.

В гаме.

Надо мной океан.

Лежит

и не может пролиться.

И сидят,

и ходят,

и все вверх ногами.

Вверх ногами даже самые высокопоставленные лица.

Наглядевшись американских дивес,

как хороший подъемный мост,

снова выпрямляюсь во весь

рост.

Тут уже начинаются дела так называемые небесные.

Звезды огромнеют,

потому – ближе.

Туманна земля.

Только шумами дальними ухо лижет,

голоса в единое шумливо смея.

Выше!

Тишь.

И лишь

просторы,

мирам открытые странствовать.
Подо мной,
надо мной
и насквозь светящее реянье.
Вот уж действительно
что называется – пространство!
Хоть руками щупай в 22 измерения.
Нет краев пространству,
времени конца нет.
Так рисуют футуристы едущее или идущее:
неизвестно,
что вещь,
что след,
сразу видишь вещь из прошедшего в грядущее.
Ничего не режут времени ножи.
Планеты сшибутся,
и видишь —
разом
разворачивается новая жизнь
грядущих планет туманом-газом.

Некоторое отступление. —

Выпустят из авиашколы летчика.
Долго ль по небу гоняет его?
И то
через год
у кареглазого молодчика
глаза

начинают просвечивать синевой.

Идем дальше.

Мое пребывание небом не считано,

и я

от зорь его,

от ветра,

от зноя

окрасился весь небесно-защитно —

тело лазоревосинесквозное,

Я так натянул мою материю,

что ветром

свободно

насквозь свистело, —

и я

титанисто

боролся с потерей

привычного

нашего

плотного тела.

Казалось:

миг —

и постройки масса

рухнет с ног

со всех двух.

Но я

оковался мыслей каркасом.

Выметаллизировал дух.

Нервная система?

Черта лешего!

Я так разгимнастировал ее,
что по субботам,

вымыв,

в просушку развешивал
на этой самой системе белье.

Мысль —

вещественней, чем ножка рояльная.

Вынешь мысль из-под черепа кровельки,

и мысль лежит на ладони,

абсолютно реальная,

конструкцией из светящейся проволоки.

Штопором развинчивается напрягшееся ухо.

Могу сверлить им

или

на бутыль нацелиться слухом

и ухом откупоривать бутылки.

Винты еще!

Тихо до жути.

Хоть ухо выколи.

Но уши слушали.

Уши привыкли.

Сперва не разбирал и разницу нот.

(Это всего-то отвинтившись версты на три!)

Разве выделишь,

если кто кого ругнет
особенно громко по общеизвестной матери.
А теперь
не то что мухин полет различают уши —
слышу
биенье пульса на каждой лапке мушье.
Да что муха,
пустяк муха.
Слышу
каким-то телескопическим ухом:
мажорно
мира жернов
басит.
Выворачивается из своей оси.
Уже за час различаю —
небо в приливе.
Наворачивается облачный валун на валун им.
Это месяц, значит, звезды вывел
и сам
через час
пройдет новолунием.

Каждая небесная сила
по-своему голосила.
Раз!
Раз! —
это близко,
совсем близко
выворачивается Марс.

Пачками колец
Сатурн
расшуршался в балетной суете.
Вымахивает за туром тур он
свое мировое фуэтэ.
По эллипсисам,
по параболам,
по кругам
засвистывают на невероятные лады.
Солнце-дирижер,
прибрав их к рукам,
шипит —
шипенье обливаемой сковороды.

А по небесному стеклу,
будто с чудовищного пера,
скрип
пронизывает оркестр весь.
Это,
выворачивая чудовищнейшую спираль,
солнечная система свистит в Геркулес,
Настоящая какофония!
Но вот
на этом фоне я
жесткие,
как пуговики,
стал нащупывать какие-то буквы.
Воздух слышу, —
расходятся волны его,

груз фраз на спину взвалив.
Перекидываются словомолниево
Москва
и Гудзонов залив.

Москва.
«Всем! Всем! Всем!
Да здоровствует коммунистическая партия!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Эй!»

Чикаго.
«Всем! Всем! Всем!
Джимми Долларе предлагает партию
откормленнейших свиней!»

Ловлю долетающее сюда извне.
В окружающее вросся.
Долетит —
и я начинаю звенеть и звенеть
антеннами глаза,
глотки,
носа.

Сегодня я добился своего. Во вселенной совершилось
наиневоятнейшее превращение.

Пространств мировых одоления ради,
охвата ради веков дистанций

я сделался вроде
огромнейшей радиостанции.

С течением времени с земли стали замечать мое сооружение. Земля ошеломилась. Пошли целить телескопы. Книга за книгой, за статьей статья. Политехнический музей взрывался непрекращающимися диспутами. Я хватал на лету радио важнейших мнений. Сводка:

Те, кто не видят дальше аршина,
просто не верят:

«Какая такая машина??»

Поэты утверждают:

«Новый выпуск „истов“,
просто направление такое
новое —

унанимистов».

Мистики пишут:

«Логос.

Это всемогущество. От господа бога-с».

П. С. Коган:

«Ну, что вы, право,
это

просто символизируется посмертная слава».

Марксисты всесторонне обсудили диво.

Решили:

«Это

олицетворенная мощь коллектива».

А. В. Луначарский:
"Это он о космосе!»

Я не выдержал, наклонился и гаркнул на всю землю

– Бросьте вы там, которые о космосе!

Что космос?

Космос далеко-с, мусью-с!

То, что я сделал,

это

и есть называемое «социалистическим поэтом».

Выше Эйфелей,

выше гор

– кепка, старое небо дырь! —

стою,

будущих былин Святогор

богатырь.

Чтоб поэт перерос веков сроки,

чтоб поэт

человечеством полководить мог,

со всей вселенной впитывай соки

корнями вросших в землю ног.

Товарищи!

У кого лет сто свободных есть,

можете повторно мой опыт произвести.

А захотелось на землю

вниз —

возьми и втянись.

Практическая польза моего изобретения:

при таких условиях
древние греки
свободно разгуливали б в тридцатом веке.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Простите, товарищ Маяковский. Вот вы всё время орете – «социалистическое искусство, социалистическое искусство». А в стихах – «я», «я» и «я». Я радио, я башня, я то, я другое. В чем дело?

Для малограмотных

Пролеткультцы не говорят
ни про «я»,
ни про личность.
«Я»
для пролеткультиста
все равно что неприличность.
И чтоб психология
была
«коллективней», чем у футуриста,
вместо «я-с-то»
говорят

«МЫ-С-ТО».

А по-моему,
если говорить мелкие вещи,
сколько ни заменяй «Я»-«Мы»,
не вылезешь из лирической ямы.

А я говорю
«Я»,
и это «Я»
вот,
балагурия,
прыгая по словам легко,
с прошлых
многовековых высот,
озирает высоты грядущих веков.

Если мир
подо мной
муравейника менее,
то куда ж тут, товарищи, различать местоимения?!

Теперь сама поэма

Напомню факты. Раскрутив шею, я остановился на ка-
ких-то тысячных метрах.

Подо мной земля —
капля из-под микроскопа:
загогулина и палочка, палочка и загогулина...
Европа лежит грудой раскопок,
гулом пушек обложенная огульно.

Понятно,
видишь только самые общие пятна.
Вот
она,
Россия,
моя любимая страна.
Красная,
только что из революции горнила.
Рабочей
чудовищной силой
ворочало ее и гранило.
Только еле
остатки нэпа ржавчиной чернели.
А это Польша,
из лоскуточков ссучена.
Тут тебе сразу вся палитра.
Склей такую!
Потратила пилсудчина
слюны одной тысячу литров.
Чувствуешь —
зацепить бы за лоскуточек вам,
и это
всё
разлезется по швам.
Германия —
кратера огнедышащий зной.
Камня,
пепла словесное сеянье.
Лава —

то застынет соглашательской желтизной,
то, красная,
дрожит революции землетрясением.

Дальше.

Мрак.

Франция.

Сплошной мильерановский фрак,

Черный-черный.

Прямо синий.

Только сорочка блестит —

как блик на маслине.

Чем дальше — тем чернее.

Чем дальше — тем мрачнее.

Чем дальше — тем ночнее.

И на горизонте,

где Америка,

небо кроя,

сплошная чернотища выметалась икрою.

Иногда лишь

черноты горы

взрывались звездой света —

то из Индии,

то из Ангоры,

то из Венгерской республики Советов.

Когда же

сворачивался лучей веер,

день мерк —

какой расфеееривался фейерверк!

Куда ни нагнись ты —
огнисто.

Даже ночью, даже с неба узнаю РСФСР.

Мало-помалу, еле-еле,
но вместе с тем неуклонно,
неодолимо вместе с тем
подо мной
развертываются
огней параллели —
это Россия железнодорожит темь.

А там вон
в линиях огни поредели,
в кучи сбились,
горят тангово.
Это значит —
Париж открывает бордели
или еще какая из животоварных торговых.

Собрать бы молнии
да отсюда
в золотооконный
в этот самый
в Мулея
в Руж...
Да разве попрешь?
Исторические законы!

Я марксист,
разумеется, не попру ж!

Если б вы знали,
с какой болью
ограничиваюсь свидетельской ролью.

Потушить антенны глаз. Настроить на 400 000 верст антенны слуха!

Сначала
— молодое рвение —
радостно принимал малейшее веянье.
Ловлю перелеты букв-пуль.
Складываю.
Расшифровываю,
волнуясь и дрожа.
И вдруг:
«Ллойд-Джордж зовет в Ливерпуль.
На конференцию.
Пажа-пажа!!»
Следующая.
Благой мат.
Не радио,
а Третьяков в своем «Рыде»:
«Чего не едете?
Эй, вы,
дипломат!
Послезавтра.

Обязательно!
В Мадриде!»

До чего мне этот старик осточертел!

Тысячное радио.
Несколько слов:
«Ллойд-Джордж.
Болезнь.
Надуло лоб.
Отставка.
Вызвал послов.
Конференция!»
Конотоп!

Черпнешь из другой воздушной волны.
Волны
другой чепухой полны.
«Берлину
Париж:
Гони монету!»
«Парижу
Берлин:
Монет нету!»
«Берлину.
У аппарата Фош.
Платите! —
а то зазвените».
«Парижу.

Что ж,
заплатим,
извините».

И это в конце каждого месяца.

От этого
даже Аполлон Бельведерский взбесится.

А так как
человек, а не мрамор,
то это
меня
извело прямо.

Я вам не в курзале под вечер летний,
чтоб слушать
эти
радиосплетни.

Завинчусь.

Не будет нового покамест —
затянусь облаками-с.

Очень оригинальное ощущение. Головой провинтим облака и тучи. Земли не видно. Не видишь даже собственные плечи. Только небо. Только облака. Да в облаках мед голова.

Мореет тучами.
Облаком застит.

И я
на этом самом

на море
горой-головой плыву головастиль —
второй какой-то брат черноморий.
Эскадры
верблюдокорабледраконьи.
Плывут.
Изолочены солнечным Крезом.
И встретясь с фантазией ультра-Маркони,
об лоб разбиваемы облакорезом.
Громище.
Закатится
с тучи
по скату,
над ухом
грохотом расчересчурясь.
Втыкаю в уши облака вату,
стою в тишине, на молнии щурясь.
И дальше
летит
эта самая Лета;
не злобствуя дни текут и не больствуя,
а это
для человека
большое удовольствие.

Стою спокойный. Без единой думы. Тысячесилием воли
сдерживаю антенны. Не гудеть!

Лишь на извивах подсознательных,

проселков окольней,
полумысль о культуре проходящих поколений:
раньше
аэро
шуршали о голени,
а теперь
уже шуршат о колени.

Так
Дни
текли и текли в покое.
Дни дотекли.
И однажды
расперегрянуло такое,
что я
затрясся антенной каждой.

Колонны ног,
не колонны – стебли.
Так эти самые ноги колеблет.

В небо,
в эту облакову няньку,
сквозь земной
непрекращающийся зуд,
все законы природы вывернув наизнанку,
в небо
с земли разразили грозу.
Уши —

просто рушит.

Радиосмерч.

«Париж...

Согласно Версальскому

Пуанкаре да Ллойд...»

«Вена.

Долой!»

«Париж.

Фош.

Врешь, бош.

Берегись, унтер...»

«Berlin.

Runter!» '

«Вашингтон.

Закреть Европе кредит.

Предлагаем должникам торопиться со взносом».

«Москва.

А ну!

Иди!

Сунься носом».

За радио радио в воздухе пляшет.

Воздух

в сплошном

и грозобуквом ералаше.

Что это! Скорее! Скорее! Увидеть. Раскидываю тучи. Ладонь ко лбу. Глаза укрепил над самой землей. Вчера еще закандаленная границам?!, лежала здесь Россия одиноким

красным оазисом. Пол-Европы горит сегодня. Прерывает
огонь границы географии России. А с запада на приветствия
огненных рук огнеплещет германский пожар. От красного
тела России, от красного тела Германии огненными руками
отделились колонны пролетариата. И у Данцига –
«Берлин. Долой!» (нем.).

пальцами армий,
пальцами танков,
пальцами Фоккеров
одна другой руку жала.
И под пальцами
было чуть-чуть мокро
там,
где пилсудчина коридорами лежала. —

Влились. Сплошное огневище подо мной. Сжалось. На-
пряглось. Разорвалось звездой.

Надрывающиеся вопли:
«Караул!
Стой!»
А это
разливается пятиконечной звездой
в пять частей оторопевшего света.
Вот
один звездозуб,
острый,

узкий,
врезывается в край земли французской.
Чернота старается.
Потушить бы,
поймать.
А у самих
в тылу
разгорается кайма.
Никогда эффектнее не видал ничего я!
Кайму протягивает острое лучевое.
Не поможет!
Бросьте назад дуть.
Красное и красное – слилось как ртуть.
Сквозь Францию
дальше,
безудержный,
грозный,
вгрызывается зубец краснозвездный.
Ору, восторженный:
– Не тщитесь!
Ныне
революции не залить.
Склонись перед нею! —
А луч
взбирается на скат Апеннинский.
А луч
рассвечивается по Пиренею.

Сметая норвежских границ следы,

по северу
рвется красная буря.
Здесь
луч второй прожигает льды,
до полюса снега опурпуря.
П'оезда чище
лился Сибирью третий лучище.
Красный поток его
уже почти докатился до Токио.
Четвертого лучища жар
вонзил в юго-восток зубец свой длинный,
и уже
какой-то
поджаренный раджа
лучом
с Гималаев
сбит в долины.
Будто проверяя
— хорошо остра ли я, —
в Австралию звезда.
Загорелась Австралия.
Правее – пятый.
Атакует такой же.
Играет красным у негров по коже.
Прошел по Сахаре,
по желтому клину,
сиянье
до южного полюса кинул.

Размахивая громадными руками, то зажигая, то туша глаза, сетью уха вылавливая каждое слово, я весь изработался в неодолимой воле – победить. Я облаками маскировал наши колонны. Маяками глаз указывал места легчайшего штурма. Путаю вражьи радио. Все ливни, все лавы, все молнии мира – охапкою собираю, обрушиваю на черные головы врагов. Мы победим. Мы не хотим, мы не можем не победить. Только Америка осталась. Перегибаюсь. Сею тревогу.

Дрожит Америка:
революции демон
вступает в Атлантическое лоно...
Впрочем,
сейчас это не моя тема,
это уже описано
в интереснейшей поэме «Сто пятьдесят миллионов».

Кто прочтет ее, узнает, как победили мы. Отсылаю интересующихся к этой истории. А сам

замер: смотрю,
любуюсь,
и я
вижу:
вся земная масса,
сплошь подмятая под красноезвездные острия,
красная,
сияет вторым Марсом,

Видением лет пролетевших взволнован,
устав
восторгаться в победном раже,
я
голову
в небо заправил снова
и снова
стал
у веков на страже.
Я видел революции,
видел войны.
Мне
и голодный надоел человек.
Хоть раз бы увидеть,
что вот,
спокойный,
живет человек меж веселий и нег.
Радуюсь просторам,
радуюсь тишине,
радуюсь облачным нивам.
Рот
простор разжиженный пьет.
И только
иногда
вычесываю лениво
в волоса запутавшееся
звездное репье.
Словно
стекло

время, —
текло, не текло оно,
не знаю, —
вероятно, текло.
И, наконец, через какое-то время —
тучи в клочки,
в клочочки-клочишки.
Исчезло все
до последнего
бледного
облачишка.

Смотрю на землю, восторженно поулыбливаясь.

На всём
вокруг
ни черного очень,
ни красного,
но и ни белого не было.
Земшар
сияньем сплошным раззолочен,
и небо
над шаром
раззолотонебело.
Где раньше
река
водищу гоняла,
лила наводнения,
буйна,

гола, —
теперь
геометрия строгих каналов
мрамору в русла спокойно легла.
Где пыль
вздымалась,
ветрами дуема,
Сахары охрились, жаром лентя, —
росли
из земного
из каждого дюйма,
строения и зелены.
Глаз —
восторженный над феерией рей!
Реальнейшая
подо мною
вон она —
жизнь,
мечтаемая от дней Фурье,
Роберта Оуэна и Сен-Симона,
Маяковский!
Опять человеком будь!
Силой мысли,
нервов,
жил
я,
как стоверстную подзорную трубу,
тихо шеищу сложил.

Небылицей покажется кое-кому.

А я,

в середине ХХІ века,

на **Земле**,

среди **Федерации Коммун** —

гражданин **ЗЕФЕКА**.

Самое интересное, конечно, начинается отсюда. Едва ли кто-нибудь из вас точно знает события конца ХХІ века. А я знаю. Именно это и описывается в моей третьей части.

1922

ПРО ЭТО

ПРО ЧТО – ПРО ЭТО?

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
прикажет:
– Скреби! —
И калека

с бумаги
срывается в клекоте,
горько строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
– Истина! —
Эта тема придет,
велит:
– Красота! —
И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
– А —
недоступней Казбека.
Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
вовек не износится,

только скажет:

– Отныне гляди на меня! —

И глядишь на нее,

и идешь знаменосцем,

красношелкий огонь над землей знаменя.

Это хитрая тема!

Нырнет под события,

в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,

и как будто ярясь

– посмели забыть ее! —

затрясет;

посыпятся души из шкур.

Эта тема ко мне заявила гневная,

приказала:

– Подать

дней удила! —

Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное

и грозой раскидала людей и дела.

Эта тема пришла,

остальные оттерла

и одна

безраздельно стала близка.

Эта тема ножом подступила к горлу.

Молотобоец!

От сердца к вискам.

Эта тема день истемнила, в темень

колотись – велела – строчками лбов.

Имя

этой

теме:

...!

I

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Стоял — вспоминаю.

Был этот блеск.

И это

тогда

называлось Невою.

Маяковский, «Человек».

(13 лет работы, т. 2, стр. 77)

О балладе и о балладах

Немолод очень лад баллад,

но если слова болят

и слова говорят про то, что болят,

молодеет и лад баллад.

Лубянский проезд.

Водопьяный.

Вид

Вот.

Вот

фон.

В постели она.

Она лежит.

Он.

На столе телефон.

«Он» и «она» баллада моя.

Не страшно нов я.

Страшно то,

что «он» — это я,

и то, что «она» —

моя.

При чем тюрьма?

Рождество.

Кутерьма.

Без решеток окошки домика!

Это вас не касается.

Говорю — тюрьма.

Стол.

На столе соломинка.

По кабелю пущен номер

Тронул еле — волдырь на теле.

Трубку из рук вон.

Из фабричной марки —

две стрелки яркие

омолниили телефон.

Соседняя комната.

Из соседней

сонно:

– Когда это?

Откуда это живой поросенок? —

Звонок от ожогов уже визжит,

добела раскален аппарат.

Больна она!

Она лежит!

Беги!

Скорей!

Пора!

Мясом дымясь, сжимаю жжение.

Моментально молния телом забегала.

Стиснул миллион вольт напряжения.

Ткнулся губой в телефонное пекло.

Дыры

сверля

в доме,

взмыв

Мясницкую

пашней,

рвя

кабель,

номер

пулей

летел

барышне.

Смотрел осовело барышнин глаз —

под праздник работай за двух.
Красная лампа опять зажглась.
Позвонила!
Огонь потух.
И вдруг
как по лампам пошло куролесить,
вся сеть телефонная рвется на нити.
— 67-10!
Соедините! —
В проулок!
Скорей!
Водопьяному в тишь!
Ух!
А то с электричеством станется —
под рождество
на воздух взлетишь
со всей
со своей
телефонной
станцией.
Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил —
про это лишь —
сто лет! —
говаривал детям дед.
— Было — суббота...
под воскресенье...
Окорочок...
Хочу, чтоб дешево...

Как вдарит кто-то!..
Землетрясение...
Ноге горячо...
Ходун – подошва!.. —
Не верилось детям,
чтоб так-то
да там-то.
Землетрясение?
Зимой?
У почтамта?!

Телефон бросается на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький
шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков грома тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.
Это визжащее,
звнящее это
пальнуло в стены,
старалось взорвать их.
Звоночинки
тыщей
от стен
рикошетом
под стулья закатывались
и под кровати.
Об пол с потолка звоночище хлопал.

И снова,
звнящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись об пол,
и сыпало вниз дребезгою звоночной.
Стекло за стеклом,
вьюшку за вьюшкой

тянуло
звенеть телефонному в тон.
Тряся
ручоночкой
дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.

Секундантша

От сна
чуть видно —
точка глаз
иголит щеки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идет,
кряхтя и харкая.
Моченым яблоком она.
Морщият мысли лоб ее.
— Кого?
Владим Владимыч?!
А! —
Пошла, туфлюю шлепая.

Идет.

Отмеряет шаги секундантом.

Шаги отдаляются...

Слышатся еле...

Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Просветление мира

Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.

Как были,

рот разинув,

сюда они

смотрят на рождество из рождеств.

Им видима жизнь

от дрызг и до дрызг.

Дом их —

единая будняя тина.

Будто в себя,

в меня смотрясь,

ждали

смертельной любви поединок.

Окаменели сиренные рокоты.

Колес и шагов суматоха не вертит.

Лишь поле дуэли

да время-доктор

с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.

Москва —

за Москвой поля примолкли.

Моря —

за морями горы стройны.

Вселенная

вся

как будто в бинокле,

в огромном бинокле (с другой стороны).

Горизонт распрямился

ровно-ровно.

Тесьма.

Натянут бечевкой тугой.

Край один —

я в моей комнате,

ты в своей комнате — край другой.

А между —

такая,

какая не снится,

какая-то гордая белой обновой,

через вселенную

легла Мясницкая

миниатюрой кости слоновой.

Ясность.

Прозрачайшей ясностью пытка.

В Мясницкой

деталью искуснейшей выточки

кабель

тонюсенький —

ну, просто нитка!

И все

вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль

Раз!

Трубку наводят.

Надежду

брось.

Два!

Как раз

остановилась,

не дрогнув,

между

моих

мольбой обволокнувших глаз.

Хочется крикнуть медлительной бабе:

— Чего задаетесь?

Стоите Дантесом.

Скорей,

скорей просверлите сквозь кабель

пулей

любого яда и веса. —

Страшнее пуль —

оттуда

сюда вот,

кухаркой оброненное между зевот,

проглоченным кроликом в брюхе удава

по кабелю,

вижу,

слово ползет.

Страшнее слов —

из древнейшей древности,

где самку клыком добывали люди еще,

ползло

из шнура —

скребущейся ревности

времен троглодитских тогдашнее чудище.

А может быть...

Наверное, может!

Никто в телефон не лез и не лезет,

нет никакой троглодичьей рожи.

Сам в телефоне.

Зеркалюсь в железе.

Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!

Пойди – эту правильность с Эрфуртской

сверь!

Сквозь первое горе

бессмысленный,

ярый,

мозг поборов,

проскребается зверь.

Что может сделаться с человеком

Красивый вид.

Товарищи!

Взвесьте!

В Париж гастролировать едущий летом,

поэт,
почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтем из штиблета.
Вчера человек —
единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
Шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж!?
В телефоны бабахать!?
К своим пошел!
В моря ледовитые!

Размедвежение

Медведем,
когда он смертельно сердится,
на телефон
грудь
на врага тяну.
А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет.
Ручьища красной меди.
Рычанье и кровь.
Лакай, темнота!
Не знаю,
плачут ли,
нет медведи,

но если плачут,
то именно так.
То именно так:
без сочувственной фальши
скулят,
заливаясь ущельной длиной.
И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,
задравши морду,
как те,
повыть,
извыться
и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.
Обвал.
Беспокоит.
Винтовки-шишки
не грохнули б враз.
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.

Протекающая комната

Кровать.
Железки.
Барахло одеяло.

Лежит в железках.

Тихо.

Вяло.

Трепет пришел.

Пошел по железкам.

Простынь постельная треплется плеском.

Вода лизнула холодом ногу.

Откуда вода?

Почему много?

Сам наплакал.

Плакса.

Слякоть.

Неправда —

столько нельзя наплакать.

Чертова ванна!

Вода за диваном.

Под столом,

за шкафом вода.

С дивана,

сдвинут воды задеваньем,

в окно проплыл чемодан.

Камин...

Окурок...

Сам кинул.

Пойти потушить.

Петушится.

Страх.

Куда?

К какому такому камину?

Верста.

За верстою берег в кострах.

Размыло все,

даже запах капустный

с кухни

всегдашний,

приторно сладкий.

Река.

Вдали берега.

Как пусто!

Как ветер воет вдогонку с Ладоги!

Река.

Большая река.

Холодина.

Рябит река.

Я в середине.

Белым медведем

взлез на льдину,

плыву на своей подушке-льдине.

Бегут берега,

за видом вид.

Подо мной подушки лед.

С Ладоги дует.

Вода бежит.

Летит подушка-плот.

Плыву.

Лихорадуюсь на льдине-подушке.

Одно ощущение водой не вымыто:

я должен

не то под кроватные дужки,
не то
под мостом проплыть под каким-то.
Были вот так же:
ветер да я.
Эта река!..
Не эта.
Иная.
Нет, не иная!
Было —
стоял.
Было – блестело.
Теперь вспоминаю.
Мысль растет.
Не справлюсь я с нею.
Назад!
Вода не выпустит плот.
Видней и видней...
Ясней и яснее...
Теперь неизбежно...
Он будет!
Он вот!!!

Человек из-за 7-ми лет

Волны устои стальные моют.
Недвижный,
страшный,
упершись в бока

столицы,
в отчаянье созданной мною,
стоит
на своих стоэтажных быках.
Небо воздушными скрепами вышел.
Из вод феерией стали восстал.
Глаза подымаю выше,
выше...
Вон!
Вон —
опершись о перила моста...
Прости, Нева!
Не прощает,
гонит.
Сжался!
Не сжалился бешеный бег,
Он!
Он —
у небес в воспаленном фоне,
прикрученный мною, стоит человек.
Стоит.
Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
Напрасные мнешь!
Я слышу
мой,
мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос —

он молит,
он просится:
– Владимир!
Остановись!
Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
броситься?
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко?
Сам
в ихний быт,
в их семейное счастье
намереваешься пролезть петушком?!
Не думай! —
Рука наклоняется вниз его.
Грозится
сухой
в подмостную кручу.
– Не думай бежать!
Это я

вызвал.
Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!
Там,
в городе,
праздник.
Я слышу гром его.
Так что ж!
Скажи, чтоб явились они.
Постановление неси исполкомово.
Муку мою конфискуй,
отмени.
Пока
по этой
по Невской
по глуби
спаситель-любовь
не придет ко мне,
скитайся ж и ты,
и тебя не полюбят.
Греби!
Тони меж домовых камней! —

Спасите!

Стой, подушка!
Напрасное тщенье.

Лапой гребу —
плохое весло.
Мост сжимается.
Невским течением
меня несло,
несло и несло.
Уже я далеко.
Я, может быть, за день.
За день
от тени моей с моста.
Но гром его голоса гонится сзади.
В погоне угроз паруса распластал.
— Забыть задумал невский блеск?!
Ее заменишь?!
Некем!
По гроб запомни переплеск,
плескавший в «Человеке». —
Начал кричать.
Разве это осилите?!
Буря басит —
не осилить вовек.
Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!
Там
на мосту
на Неве
человек!

II

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Фантастическая реальность

Бегут берега —
за видом вид.
Подо мной —
подушка-лед.
Ветром ладожским гребень завит.
Летит
льдышка-плот.
Спасите! – сигналю ракетой слов.
Падаю, качкой добытый.
Речка кончилась —
море росло.
Океан —
большой до обиды.
Спасите!
Спасите!..
Сто раз подряд
реву батареей пушечной.
Внизу
подо мной
растет квадрат,

остров растет подушечный.
Замирает, замирает,
замирает гул.
Глуше, глуше, глуше...
Никаких морей.
Я —
на снегу.
Кругом —
версты суши.
Суша – слово.
Снегами мокра.
Подкинут метельной банде я.
Что за земля?
Какой это край?
Грен-
лап-
люб-ландия?

Боль были

Из облака вызрела лунная дынка,
стену постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.
Бегу.
Ходынка
за мной.
Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
К Садовой аж выкинул "у"!

Оглоблей
или машиной,
но только
мордой
аршин в снегу.
Пулей слова матершины.
"От нэпа ослеп?!"
Для чего глаза впряжены?!
Эй,ты!
Мать твою разнэп!
Ряженный!"
Ах!
Да ведь
я медведь.
Недоразуменье!
Надо —
прохожим,
что я не медведь,
только вышел похожим.

Спаситель

Вон
от заставы
идет человечек.
За шагом шаг вырастает короткий.
Луна
голову вправила в венчик.
Я уговорю,

чтоб сейчас же,
чтоб в лодке.
Это – спаситель!
Вид Иисуса.
Спокойный и добрый,
венчанный в луне.
Он ближе.
Лицо молодое безусо.
Совсем не Иисус.
Нежней.
Юней.
Он ближе стал,
он стал комсомольцем.
Без шапки и шубы.
Обмотки и френч.
То сложит руки,
будто молится.
То машет,
будто на митинге речь.
Вата снег.
Мальчишка шел по вате.
Вата в золоте —
чего уж пошловатей?!
Но такая грусть,
что стой
и грустью ранься!
Расплывайся в процыганенном романсе.

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел в Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.

Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.

С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.

Снег, хрустя, разламывал суставы.

Для чего?

Зачем?

Кому?

Был вором-ветром мальчишка обыскан.

Попала ветру мальчишки записка.

Стал ветер Петровскому парку звонить:

– Прощайте...

Кончаю...

Прошу не винить...

Ничего не поделаешь

До чего ж
на меня похож!
Ужас.

Но надо ж!
Дернулся к луже.
Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!
Тому еще хуже —
семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напаялил еле —
другого калибра.
Никак не намылишься —
зубы стучат.
Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину...
бритвой луча...
Почти,
почти такой же самый.
Бегу.
Мозги шевелят адресами.
Во-первых,
на Пресню,
туда,
по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.
За мной
всероссийские,
теряясь точкой,
сын за сыном,
дочка за дочкой.

Всехные родители

– Володя!
На рождество!
Вот радость!
Радость-то во!... —
Прихожая тьма.
Электричество комната.
Сразу —
наискось лица родни.

– Володя!
Господи!
Что это?
В чем это?
Ты в красном весь.
Покажи воротник!
– Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье —
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тетя!
Сестры!
Мама!

Тушите елку!
Заприте дом!
Я вас поведу...
вы пойдете...
Мы прямо...
сейчас же...
все
возьмем и пойдём.
Не бойтесь —
это совсем недалеко —
600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.
Мы вылезем прямо на мост.
— Володя,
родной,
успокойся! —
Но я им
на этот семейственный писк голосков:
— Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штоккой носков?

Путешествие с мамой

Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьёю засеяна.
Смотрите,

мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас,
мама,
несемся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж,
Америка,
Бруклинский мост,
Сахара,
и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.
Сомнете периной
и волю
и камень.
Коммуна —
и то завернется комом.
Столетия
жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.
Вы
под его огнеперым крылом
расставились,

разложили посудыны.
Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступеней последок.
— Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любовишка наседок!

Пресненские миражи

Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила скалы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и голо.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.

Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставляли стены, окнами выстроясь.
По стеклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждет —
помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.
Стрезвел и дернул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
— Медведь,
медведь,
медведь,
медв-е-е-е-е... —

Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми

Потом,
извертясь вопросительным знаком,
хозяин полглаза просунул:
— Однако!
Маяковский!

Хорош медведь! —

Пошел хозяин любезностями медоветь:

– Пожалуйста!

Прошу-с.

Ничего —

я боком.

Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.

Жена – Фекла Двидна.

Дочка,

точь-в-точь

в меня, видно —

семнадцать с половиной годочков.

А это...

Вы, кажется, знакомы?! —

Со страха к мышам ушедшие в норы,

из-под кровати полезли партнеры.

Усища —

к стеклам ламповым пыльники —

из-под столов пошли собутельники.

Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.

Весь безлицый парад подсчитать ли?

Идут и идут процессией мирной.

Блестят из бород паутиной квартирной.

Все так и стоит столетья,

как было.

Не быют —

и не тронулась быта кобыла.

Лишь вместо хранителей духов и фей

ангел-хранитель —
жилец в галифе.
Но самое страшное:
по росту,
по коже
одеждой,
сама походка моя! —
в одном
узнал —
близнецами похожи —
себя самого —
сам

я.

С матрацев,
вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух
веночки
с обоев
венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,
приподняв
веночек тернистый,
любезно кланяется.
Маркс,

впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были
сидя сняты
на корточках,
радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,
осклабились враз;
кто басом фразу,
кто в дискант
дьячком.
– С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праз-
нич-
ком! —
Хозяин
то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.
– Да я не знал!..
Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
Дом...
Со своими...

Бессмысленные просьбы

Мои свои?!

Д-а-а-а —

это особы.

Их ведьма разве сыщет на венике!

Мои свои

с Енисея

да с Оби

идут сейчас,

следят четвереньки.

Какой мой дом?!

Сейчас с него.

Подушкой-льдом

плыл Невой —

мой дом

меж дамб

стал льдом,

и там...

Я брал слова

то самые вкрадчивые,

то страшно рыча,

то вызвоня лирово.

От выгод —

на вечную славу сворачивал,

молил,

грозил,

просил,

агитировал.

— Ведь это для всех...

для самих...

для вас же...

Ну, скажем, «Мистерия» —

ведь не для себя ж?!

Поэт там и прочее...

Ведь каждому важен...

Не только себе ж —

ведь не личная блажь...

Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...

Но можно стихи...

Ведь сдирают шкуру?!

Подкладку из рифм поставишь —

и шуба!..

Потом у камина...

там кофе...

курят...

Дело пустяшно:

ну, минут на десять...

Но нужно сейчас,

пока не поздно...

Похлопать может...

Сказать —

надейся!..

Но чтоб теперь же...

чтоб это серьезно... —

Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.

Катали по столу хлебные мякиши.

Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
– Поооостой...
поооостой...
Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...

Я знаю...
Это на углу Кузнецкого моста.
Пустите!
Ну-кося! —
По углам —
зуд:
– Наззз-ю-зззюкался!
Будет нить!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за 66!
Теорию к лешему!
Нэп —
практика.
Налей,
нарежь ему.
Футурист,

налягте-ка! —

Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.

Шли

из артезианских прорв
меж рюмкой
слова поэтических споров.

В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.

На вещи насела столетняя пыль.

А тот стоит —

в перила вбит.

Он ждет,

он верит:

скоро!

Я снова лбом,

я снова в быт

вбиваюсь слов напором.

Опять

атакую и вкривь и вкось.

Но странно:

слова проходят насквозь.

Необычайное

Стихает бас в комариные трельки.

Подбитые воздухом, стихли тарелки.

Обои,

стены
блекли...
блекли...
Тонули в серых тонах офортных.
Со стенки
на город разросшийся
Беклин
Москвой расставил «Остров мертвых».
Давным-давно.
Подавно —
теперь.
И нету прощя!
Вон
в лодке,
скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
не то поля —
их шорох тишью стерт весь.
А за морями —
тополя
возносят в небо мертвость.
Что ж —
ступлю!
И сразу
тополи
сорвались с мест,
пошли,
затопали.

Тополи стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
милиционерами.
Расчетверившись,
белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.

Деваться некуда

Так с топором влезают в сон,
обметят спящелобых —
и сразу
исчезает все,
и видишь только обух.
Так барабаны улиц
в сон
войдут,
и сразу вспомнится,
что вот тоска
и угол вон,
за ним
она —
виновница.
Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
на карты окон легла.
Очко стекла —
и я проиграю.

Арап —
миражей шулер —
по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше —
вырасти б,
стихом в окно влететь.
Нет,
никни к стенной сырости.
И стих
и дни не те.
Морозят камни.
Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
убив,
Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостье идет по лестнице...
Ступеньки бросил —
стенкою.

Стараюсь в стенку вплесниться
и слышу —
струны тенькают.
Быть может, села
вот так
невзначай она.
Лишь для гостей,
для широких масс.
А пальцы
сами
в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.

Друзья

А вороны гости?!
Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орло
ко мне доплеталось пьяное допьяна.
Полоса
щели.
Голоса
еле:
"Аннушка —
ну и румянушка!"
Пироги...
Печка...

Шубу...

Помогает...

С плечика...

Сглушило слова уанстепным темпом,

и снова слова сквозь темп уанстепа:

"Что это вы так развеселились?

Разве?!"

Слились...

Опять полоса осветила фразу.

Слова непонятны —

особенно сразу.

Слова так

(не то чтоб со зла):

"Один тут сломал ногу,

так вот веселимся, чем бог послал,

танцуем себе понемногу".

Да,

их голоса.

Знакомые выкрики.

Застыл в узнавание,

расплющился, нем,

фразы крою по выкриков выкройке.

Да —

это они —

они обо мне.

Шелест.

Листают, наверное, ноты.

"Ногу, говорите?

Вот смешно-то!"

И снова
в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щек они.
И снова
пьяное:
"Ну и интересно!
Так, говорите, пополам и треснул?"
"Должен огорчить вас, как ни грустно,
не треснул, говорят,
а только хрустнул".
И снова
хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.
И снова
стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б не ты

Стою у стенки.
Я не я.
Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!
Я день,
я год обыденщине предал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
жизнь дымком квартирошным выел.

Звал:

решишь
с этажей

в мостовые!

Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.

Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
лишь шагами ночными —
строчишь,

и становятся души строчными,
и любишь стихом,
а в прозе немею.

Ну вот, не могу сказать,
не умею.

Но где, любимая,
где, моя милая,
где

— в песке! —
любви моей изменил я?

Здесь
каждый звук,
чтоб признаться,
чтоб кликнуть.

А только из песни — ни слова не выкинуть.

Вбегу на трель,
на гаммы.

В упор глазами
в цель!

Гордясь двумя ногами,
Ни с места! – крикну. —
Цел! —
Скажу:
– Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами грома обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.
Приди,
разотзовись на стих.
Я, всех оббегав, – тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!
Бежим к мосту! —
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сбору себя,
пойду туда.
Секунда —
и шагну.

Шагание стиха

Последняя самая эта секунда,
секунда эта

стала началом,
началом
невероятного гуда.
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанию
догадываюсь —
оно над Любанию.
По холоду,
по хлопанию дверью
догадываюсь —
оно над Тверью.
По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское залил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздымаясь в невской пене.
Ужас дошел.
В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,

разгуживаясь все и разгуживаясь,
взорвался,
пригвоздил:
– Стой!

Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:
Нет!

Пришел повелеть:

Оставь!

Оставь!

Не надо

ни слова,

ни просьбы.

Что толку —

тебе

одному

удалось бы?!

Жду,

чтоб землей обезлюбленной

вместе,

чтоб всей

мировой

человечьей гущей.

Семь лет стою,

буду и двести

стоять пригвожденный

этого ждущий.

У лет на мосту

на презрение,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь.

Ротонда

Стены в тустепе ломались
на три,
на четверть тона ломались,
на сто...
Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу —
стотысячный случай —
на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
все, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
— Русский! —

Женщины —
мяса и тряпок вязанки —
смеются,
стащить стараются
за ноги:
"Не пойдём.
Дудки!
Мы – проститутки".
Быть Сены полосе б Невой!
Грядущих лет брызгой
хожу по мгле по Сеновой
всей нынчести изгой.
Саженный,
обсмеянный,
саженный,
битый,
в бульварах
ору через каски военщины:
– Под красное знамя!
Шагайте!
По быту!
Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце женщины! —
Сегодня
гнали
в особенном раже.
Ну и жара же!

Полусмерть

Надо
немного обветрить лоб.
Пойду,
пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело
с панели
уносят метельщики.
Рассвет.
Подымаюсь сенскою сенью,
синематографской серой тенью.
Вот —
гимназистом смотрел их
с парты —
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
к странам Востока.

Случайная станция

С разлету рванулся —
и стал,
и на мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.
Ощупал —
скользко,
луковка точно.

Большое очень.
Испозолочено.
Под луковкой
колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
видятся еле.
Весело.
Елками зарождествели.
В ущелья кремлевы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,
бросала Тереком
праздник
Москва.
Вздывается волос.
Лягушкою тужусь.
Боюсь —
оступлюсь на одну только пядь,
и этот
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.

Повторение пройденного

Руки крестом,
крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.

Подо мною
льdistый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —
руками картонными.
Заметят.

Отсюда виден весь я.
Смотрите —
Кавказ кишит Пинкертонами.
Заметили.

Всем сообщили сигналом.
Любимых,
друзей
человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.
Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетинясь,

щерясь
еще и еще там...
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,
руками,
ветром,
нещадно,
без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.
Пассажи —
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развевая паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевещи!
И так я калека в любовном боленье.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,

я только душа.

А снизу:

– Нет!

Ты враг наш столетний.

Один уж такой попался —
гусар!

Понюхай порох,
свинец пистолетный.

Рубаху враспашку!

Не празднуй трус'а! —

Последняя смерть

Хлеще ливня,
грома бодрей,
бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевести дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!

Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

То, что осталось

Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы клочья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
по-прежнему
лирикой звездится.
Глядит
в удивленье небесная звезд —
затрубадурила Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!
С борта
звездолетом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум,

Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальной!
Солнце блесит горы.
Дни улыбаются с пристани.

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ...

Прошу вас, товарищ химик,
заполните сами!

Пристает ковчег.
Сюда лучами!
Пристань.
Эй!
Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса – гора Килиманджаро.
Только с карты африканской – Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.

Мир
хотел бы
в этой груди горя
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием вздыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежеченным в звериный лязг,
ежью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми порами
в осень,

в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
все.
Все,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
все,
что мелочинным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
из-за угла
ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь – четырежды омоложенный,
до гроба добратся чтоб.
Где б ни умер,

умру поя.

В какой трущобе ни лягу,

знаю —

достоин лежать я

с легшими под красным флагом.

Но за что ни лечь —

смерть есть смерть.

Страшно – не любить,

ужас – не сметь.

За всех – пуля,

за всех – нож.

А мне когда?

А мне-то что ж?

В детстве, может,

на самом дне,

десять найду

сносных дней.

А то, что другим?!

Для меня б этого!

Этого нет.

Видите —

нет его!

Верить бы в загробь!

Легко прогулку пробную.

Стоит

только руку протянуть —

пуля

мигом

в жизнь загробную

начертит гремящий путь.
Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.

Вера

Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется —
вот только с этой рифмой
развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь.
Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,

будто камень в камень,
недоступная для тленов и прошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человеческих воскрешений.
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
«Вся земля», —
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?
— Маяковский вот...
Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив. —
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
— Не листай страницы!
Воскреси!

Надежда

Сердце мне вложи!
Кровищу —
до последних жил.
в череп мысль вдолби!

Я свое, земное, не дож'ил,
на земле
свое не долюбил.

Был я сажень ростом.

А на что мне сажень?

Для таких работ годна и тля.

Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.

Что хотите, буду делать даром —

чистить,

мыть,

стеречь,

мотаться,

мечь.

Я могу служить у вас

хотя б швейцаром.

Швейцары у вас есть?

Был я весел —

толк веселым есть ли,

если горе наше непролазно?

Нынче

обнажают зубы если,

только чтоб хватить,

чтоб

лязгнуть.

Мало ль что бывает —

тяжесть

или горе...

Позовите!

Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,
аллегорий
буду развлекать,
стихами балагурия.
Я любил...
Не стоит в старом рыться.
Больно?
Пусть...
Живешь и болью дорожаешь.
Я зверье еще люблю —
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь, —
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!

Любовь

Может,
может быть,
когда-нибудь,

дорожкой зоологических аллей

и она —

она зверей любила —

тоже ступит в сад,

улыбаясь,

вот такая,

как на карточке в столе.

Она красивая —

ее, наверно, воскресят.

Ваш

тридцатый век

обгонит стаи

сердце раздиравших мелочей.

Нынче недолюбленное

наверстаем

звездностью бесчисленных ночей.

Воскреси

хотя б за то,

что я

поэтом

ждал тебя,

откинул будничную чушь!

Воскреси меня

хотя б за это!

Воскреси —

свое дожить хочу!

Чтоб не было любви – служанки

замужеств,

похоти,

хлебов.

Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.

Чтоб день,
который горем старящ,
не христарadniчать, моля.

Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.

Чтоб жить
не в жертву дома дырам.

Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец,
по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере, — мать.

1923

РАБОЧИМ КУРСКА, ДОБЫВШИМ ПЕРВУЮ РУДУ, ВРЕМЕННЫЙ ПАМЯТНИК РАБОТЫ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Было:

социализм —

восторженное слово!

С флагом,

с песней

становились слева,

и сама

на головы

спускалась слава.

Сквозь огонь прошли,

сквозь пушечные дула.

Вместо гор восторга —

горе дола.

Стало:

коммунизм —

обычайшее дело.

Нынче

словом

не пофанфароните —
шею крючь
да спину гни.
На вершочном
незаметном фронте
завоевываются дни.
Я о тех,
кто не слышал
про греков
в драках,
кто
не читал
про Муциев Сцев'ол,
кто не знает,
чем замечательны Гракхи, —
кто просто работает —
грядущего вол.
Было.
Мы митинговали.
Словопадов струи,
пузыри идеи —
мир сразить во сколько.
А на деле —
обломались
ручки у кастрюли,
бреемся
стеклом-осколком.
А на деле —
у подметок дырки, —

без гвоздя
слюной
клеить – впустую!
Дырку
не посадите в Бутырки,
а однако
дырки
протестуют.
«Кто был ничем, тот станет всем!»
Станет.
А на деле —
как феллахи —
неизвестно чем
распахиваем земь.
Шторы
пиджаками
на плечи надели.
Жабой
сжало грудь
блокады иго.
Изнутри
разрух стоградусовый жар.
Машиньё
сдыхало,
рычажком подрыгав.
В склепах-фабриках
железо
жрала ржа.
Непроезженные

выли степи,
и Урал
орал
непроходимолесый.
Без железа
коммунизм
не стерпим.
Где железо?
Рельсы где?
Давайте рельсы!
Дым
не выдоит
трубищ фабричных вымя.
Отповедь
гудковая
крута: «Зря
чего
ворочать маховыми?
Где железо,
отвечайте!
Где руда?»
Электризовало
массы волю.
Массы мозг
изобретательством мотало.
Тело масс
слоняло
по горе,
по полю

голодом
и жаждою металла.
Крик,
вгоняющий
в дрожание
и в ёжь,
уши
земляные
резал:
«Дашь железо!»
Возникал
и глух призыв повторный —
только шепот
шел
профессоров-служак:
де под Курском
стрелки
лезут в стороны,
как Чужак.
Мне
фабрика слов
в управление дана.
Я
не геолог,
но я утверждаю,
что до нас было
под Курском
голо.
Обыкновеннейшие

почва и подпочва.
Шар земной,
а в нем —
вода
и всяческий пустяк.
Только лавы
изредка
сверлили ночь его.
Времена спустя
на восстанье наше,
на желанье,
на призыв
двинулись
земли низы.
От времен,
когда
лавины
рыже разжижали —
затухавших газов перегар, —
от времен,
когда вода
входила еле в первые
базальтовые берега, —
от времен,
когда
прабабки носорожки,
ящерьи прапрадеды
и крокодилы,
ни на что воображаемое не похожие,

льдами-броненосцами катили, —
от времен,
которые
слоили папоротник,
углем
каменным
застыв,
о которых
рапорта
не дал
и первый таборник, —
залегли
железные пласты.
Будущих времен
машинный гул
в каменном
мешке
лежит —
и ни гугу.
Даешь!
До мешков,
до запрятанных в сонные,
до сердца
земного
лозунг долез.
Даешь!
Грозою воль потрясенные,
трещат
казематы

над жилой желез.
Свернув
горы навалившийся груз,
ступни пустынь,
наступивших на жилы,
железо
бежало
в извилины русл,
железо
текло
в океанские илы.
Бороло
каких-то течений сливания,
какие-то горы брало в разбеге,
под Крымом
ползло,
разогнав с Пенсильвании,
на Мурман
взбиралось,
сорвавшись с Норвегии.
Бежало от немцев,
боялось французов,
глаза
косивших
на лакомый кус,
пока доплелось,
задыхаясь от груза,
запряталось
в сердце России

под Курск.
Голоса
подземные
выкачивала ветра помпа.
Слушай, человек,
рулетка,
компас:
не для мопсов-гаубиц —
для мира
разыщи,
узнай,
найди и вырой!
Отойди
еще
на пяди малые, —
отойди
и голову нагни.
Глаз искателей
тянуло аномалией,
стрелки компасов
крутил магнит.
Есть.
Вы,
оравшие:
«В лоск залускали,
рассорил
Россию
подсолнух!» —
посмотрите

в работе мускулы
полуголых,
голодных,
сонных.

В пустырях
ветров и снега бред,
под ногою
грязь и лужи вместе,
непроходимые,
как Альфред
из «Известий».

Прославлял
романтик
Дон-Кихота, —
с ветром воевал
и с д'ухами иными.

Просто
мельников хвалить
кому охота —
с настоящей борются,
не с ветряными.

Слушайте,
пролетарские дочки:
пришедший
в землю врыться,
в чертежах
размечавший точки,
он —
сегодняшний рыцарь!

Он так же мечтает,
он так же любит.
Руда
залегла, томясь.
Красавцем
в кудрявом
дымном клубе —
за ней
сквозь камень масс!
Стальной бурав
о землю ломался.
Сиди,
оттачивай,
правь —
и снова
земли атакуется масса,
и снова
иззубрен бурав.
И снова —
ухнем!
И снова —
ура! —
в расселинах каменных масс.
Стальной
сменял
алмазный бурав,
и снова
ломался алмаз.
И когда

казалось —
правь надеждам тризну,
из-под Курска
прямо в нас
настоящею
земной любовью брызнул
будущего
приоткрытый глаз.

Пусть
разводят
скептики
унынье сыче:
нынче, мол, не взять
и далеко лежит.

Если б
коммунизму
жить
осталось
только нынче,
мы
вообще бы
перестали жить.

Будет.

Лучше всяких «Лефов»
на смерть ранив русского
ленивый вкус,
музыкой
в мильон подъемных кранов
цокает,

защелкивает Курск.
И не тщась
взлететь
на буровые вышки,
в иллюстрацию
зоологовских слов,
приготовишкам
соловьишки
демонстрируют
свое
унылейшее ремесло.
Где бульвар
вздыхал
весною томной,
не таких
Любовей
лития, —
огнегубые
вздыхают топкой домны,
рассыпаясь
звездами литья.
Речка,
где и уткам
было узко,
где и по колено
не было ногам бы,
шла
плотвою флотов
речка Тускарь:

курс на Курск —
эСэСэСэРский Гамбург.
Всякого Нью-Йорка ньюйоркистей,
раздинамливая
электрический раскат,
маяки
просверливающей зоркости
в девяти морях
слепят
глаза эскадр.
И при каждой топке,
каждом кране,
наступивши
молниям на хвост,
выверенные куряне направляли
весь
с цепей сорвавшийся ха'ос.
Четкие, как выстрел,
у машин
эльвисты.
В небесах,
где месяц,
раб писателин,
искры труб
черпал совком,
с башенных волчков
— куда тут Татлин! —
отдавал
сиренами

приказ

завком.

«Слушай!

д 2!

3 и!

Пятый ряд тяжелой индустрии!

7 ф!

Доки лодок

и шестая верфь!»

Заревет сирена

и замрет, тонка,

и опять

засвистывает

электричество и пар.

«Слушай!

19-й ангар!»

Раззевают

слуховые окна

крыши-норы.

Сразу

в сто

товарно-пассажирских линий

отправляются

с иголки

планёры,

рассияв

по солнцу

алюминий.

Раззевают

главный вход
заводы.
Лентами
авто и паровозы —
в главный.
С верфей
с верстовых
соскальзывают в воды
корабли
надводных
и подводных плаваний.
И уже
по тундрам,
обгоняя ветер резкий,
параллельными путями
на пари
два локомотива —
скорый
и курьерский – в свитрах,
в кепках
запускают лопари.
В деревнях,
с аэропланов
озирая тыщеполье,
стадом
в 1000 —
не много и не мало —
пастушонок
лет семи,

не более,
управляет
световым сигналом.
Что перо? —
гусиные обноски! —
только зря
бумагу рвут, —
сто статей
напишет
обо мне
Сосновский,
каждый день
меняя
«Ундервуд».
Я считаю,
обходя
бульварные аллеи,
скольких
наследили
юбилеи?
Пушкин,
Достоевский,
Гоголь,
Алексей Толстой
в бороде у Льва.
Не завидую —
у нас
бульваров много,
каждому

найдется
бульвар.
Может,
будет
Лазарев
у липы в лепете.
Обозначат
в бронзе
чином чин.
Ну, а остальные?
Как их слепите?
Тысяч тридцать
курских
женщин и мужчин.
Вам
не скрестишь ручки,
не напямишь тогу,
не поставишь
нянькам на затор...
Ну и слава богу!
Но зато – на бороды дымов,
на тело гулов
не покусится
никакой Меркулов.
Трем Андреевым,
всему академическому скопу,
копошащемуся
у писателей в усах,
никогда

не вылепить
ваш красный корпус,
заводские корпуса.

Вас

не будут звать:
«Железо бросьте,
выверните
на спину
глаза,
возвращайтесь
вспять
к слоновой кости,
к мамонту,
к Островскому
назад».

В ваш
столетний юбилей
не прольют
Сакулины
речей елей.

Ты работал,
ты уснул
и спи —
только город ты,
а не Шекспир.

Собинов,
перезвоните званьем Южина.

Лезьте
корпусом

из монографий и садов.

Курскам

ваших мраморов

не нужно.

Но зато —

на бегущий памятник

курьерский

рукотворный

не присядут

гадить

вороны.

Вас

у опер

и у оперетт в антракте,

в юбилее

не расхвалит

языкастый лектор.

Речь

об вас

разгромыхает трактор —

самый убедительный электролектор.

Гиз

не тиснет

монографии о вас.

Но зато —

растает дыма клуб,

и опять

фамилий ваших вязь

вписывают

миллионы труб.
Двери в славу —
двери узкие,
но как бы ни были они узки,
навсегда войдете
вы,
кто в Курске добывал
железные куски.

1923

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

*Российской коммунистической партии
посвящаю*

Время —
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною
осознанною болью.
Время,
снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слезной лужею, —
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знание —

сила
и оружие.
Люди – лодки.
Хотя и на суше.
Проживешь
свое
пока,
много всяких
грязных ракушек
налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозленную,
сядешь,
чтобы солнца близ,
и счищаешь
водорослей
бороду зеленую
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чищу.
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой

боишься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолее,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.
Голосует сердце —
я писать обязан
по мандату долга.
Вся Москва.
Промерзшая земля
дрожит от гуда.

Над кострами
обмороженные с ночи.
Что он сделал?
Кто он
и откуда?
Почему
ему
такая почесть?
Слово за словом
из памяти таская,
не скажу
ни одному —
на место сядь.
Как бедна
у мира
слова мастерская!
Подходящее
откуда взять?
У нас
семь дней,
у нас
часов — двенадцать.
Не прожить
себя длинней.
Смерть
не умеет извиняться.
Если ж
с часами плохо,
мала

календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».

Мы
спим
ночь.
Днем
совершаем поступки.
Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.

А если
за всех смог
направлять
потоки явлений,
мы говорим —
«пророк»,
мы говорим —
«гений».

У нас
претензий нет, —
не зовут —
мы и не лезем;
нравимся
своей жене,
и то

довольны донельзя.
Если ж,
телом и духом слит,
прет
на нас непохожий.
шпилим —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».
Скажут так, —
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как дымы.
Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.
Ни рукам,
ни голове не ощутимы.
Как же
Ленина
таким аршином мерить!
Ведь глазами
видел
каждый всяк —
«эра» эта
проходила в двери,
даже
головой

не задевая о косяк.

Неужели

про Ленина тоже:

"вождь

милостью божьей"?

Если б

был он

царствен и божествен,

я б

от ярости

себя не поберег,

я бы

стал бы

в перекоре шествий,

поклонениям

и толпам поперек.

Я б

нашел

слова

проклятья громоустого,

и пока

растоптан

я

и выкрик мой,

я бросал бы

в небо

богохульства,

по Кремлю бы

бомбами

метал:

долой!

Но тверды

шаги Дзержинского

у гроба.

Нынче бы

могла

с постов сойти Чека.

Сквозь миллионы глаз,

и у меня

сквозь оба,

лишь сосульки слез,

примерзшие

к щекам.

Богу

почести казенные

не новость.

Нет!

Сегодня

настоящей болью

сердце холодей.

Мы

хороним

самого земного

изо всех

прошедших

по земле людей.

Он земной,

но не из тех,

кто глазом
упирается
в свое кобыто.
Землю
всю
охватывая разом,
видел
то,
что временем закрыто.
Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинам кожей,
да насмешливей
и тверже губы,
чем у нас.
Не сатрапия твердость,
триумфаторской коляской
мнущая
тебя,
подергивая вожжи.
Он
к товарищу
милел

людскою лаской.

Он

к врагу

вставал

железа тверже.

Знал он

слабости,

знакомые у нас,

как и мы,

перемогал болезни.

Скажем,

мне бильярд —

отращиваю глаз,

шахматы ему —

они вождям полезней.

И от шахмат

перейдя

к врагу натурой,

в люди

выведа

вчерашних пешек строй,

становил

рабочей — человечьей диктатурой

над тюремной

капиталовой турой.

И ему

и нам

одно и то же дорого.

Отчего ж,

стоящий
от него поодаль,
я бы
жизнь свою,
глупея от восторга,
за одно б
его дыхание
отдал?!
Да не я один!
Да что я
лучше, что ли?!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас
из сел,
из кожи вон,
из штолен
не шагнет вперед?!
В качке —
будто бы хватил
вина и горя лишку —
инстинктивно
хоронюсь
трамвайной сети.
Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре

вот этой
безграничной смерти!
Со знаменами идут,
и так.
Похоже —
стала
вновь
Россия кочевой.
И Колонный зал
дрожит,
насквозь прохожен.
Почему?
Зачем
и отчего?
Телеграф
охрип
от траурного гуда.
Слезы снега
с флажбых
покрасневших век.
Что он сделал,
кто он
и откуда —
этот
самый человечный человек?
Коротка
и до последних мгновений
нам
известна

жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.
Слышите —
железный
и луженый,
прорезая
древние века, —
голос
прадеда
Бромлея и Гужона —
первого паровика?
Капитал
его величество,
некоронованный,
невенчаный объявляет
покоренной
силу деревенщины.
Город грабил,
греб,
грабастал,
глыбил

пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвывая трубы за небо:
— Нами
к золоту
пути мостите.
Мы родим,
пошлем,
придет когда-нибудь
человек,
борец,
каратель,
мститель! —
И уже
смешались
облака и дымы,
будто
рядовые
одного полка.
Небеса
становятся двойными,
дымы
забивают облака.
Товары

растут,
меж нищими высясь.
Директор,
лысый черт,
пощелкал счётами,
буркнул:
«кризис!»
и вывесил слово
«расчёт».
Крапило
сласти
мушиное сеево,
хлеб'а
зерном
в элеваторах портятся,
а под витринами
всех Елисеевых,
живот подведя,
плелась безработица.
И бурчало
у трущоб в утробе,
покрывая
детворинный плачик:
– Под работу,
под винтовку ль,
на —
ладони обе!
Приходи,
заступник

и расплатчик! —
Эй,
верблюды,
открыватель колоний!
Эй,
колонны стальных кораблей!
Марш
в пустыни
огня раскаленной!
Пеньте пену
бумаги белей!
Начинают
черным лататься
оазисы
пальмовых нег.
Вон
среди
золотистых плантаций
засеченный
вымычал негр:
— У-у-у-у-у,
У-у-у!
Нил мой, Нил!
Приплеши
и выплеши
черные дни!
Чтоб чернее были,
чем я во сне,
и пожар чтоб

крови вот этой красней.
Чтоб во всем этом кофе,
враз вскипелом,
вариться пузатым —
черным и белым.
Каждый
добытый
слоновий клык —
тык его в мясо,
в сердце тык.
Хоть для правнуков,
не зря чтоб
кровью литься,
выплыви,
заступник солнцелицый.
Я кончаюсь, —
бог смертей
пришел и поманил.
Помни
это заклинанье,
Нил,
мой Нил! —
В снегах России,
в бреду Патагонии
расставило
время
станки потогонные.
У Ив'анова уже
у Вознесенска

каменные туши
будоражат
выкрики частушек:
«Эх, завод ты мой, завод,
желтоглазина.

Время нового зовет
Стеньку Разина».

Внуки
спросят:

— Что такое капиталист? —

Как дети
теперь:

— Что это

г-о-р-о-д-о-в-о-й?... —

Для внуков

пишу

в один лист

капитализма

портрет родовой.

Капитализм

в молодые года

был ничего,

деловой парнишка:

первый работал —

не боялся тогда,

что у него

от работ

засалится манишка.

Трико феодальное

ему тесно!

Лез

не хуже,

чем нынче лезут.

Капитализм

революциями

своей весной

расцвел

и даже

подпевал «Марсельезу».

Машину

он

задумал и выдумал.

Люди

и те – ей! Он

по вселенной

видимо-невидимо

рабочих расплодил

детей.

Он враз

и царства

и графства сжевал

с коронами их

и с орлами.

Встучнел,

как библейская корова

или вол,

облизывается.

Язык – парламент.

С годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух, такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.
Дворец возвел —
не увидишь такого!
Художник
— не один! —
по стенам поерзал,
Пол ампиристый,
потолок рококовый,
стенки —
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей,
задолицая
полиция.
И краске
и песне
душа глуха,
как корове

цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прочая чепуха —
просто —
его
женская прислуга.
Его
и рай
и преисподняя —
распродает
старухам
дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб

и лег
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход —
взорвать!
Знаю,
лирик
скривится горько,
критик
ринется
хлыстиком выстегать:
— А где ж душа?!
Да это ж —
риторика!
Поэзия где ж?
Одна публицистика!! —
Капитализм —
неизящное слово,
куда изящней звучит —
«соловей»,
но я
возвращусь к нему
снова и снова.
Строку
агитаторским лозунгом взвей.
Я буду писать

и про то
и про это,
но нынче
не время
любовных ляс.

Я

всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.
Пролетариат —
неуклюже и узко
тому,
кому
коммунизм — западня.

Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мертвых
сражаться поднять.

Этажи
уже
заёжились, дрожа,
клич подвалов
подымается по этажам: —
Мы прорвемся
небесам
в распахнутую синь.

Мы пройдем
сквозь каменный колодец.
Будет.
С этих нар
рабочий сын —
пролетариатоводец. —
Им уже
земного шара мало.
И рукой,
отяжелевшей
от колец,
тянется
упитанная
туша капитала
ухватить
чужой горлец.
Идут,
железом
клацая и лацкая.
– Убивайте!
Двум буржуям тесно! —
Каждое село —
могила братская,
города —
завод протезный.
Кончилось —
столы
накрыли чайные.
Пирогом

победа на столе.
– Слушайте
могил чревовещание,
кастаньеты костылей!
Снова
нас
увидите
в военной яви.
Эту
время
не простит вину.
Он расплатится,
придет он
и объявит вам
и вашинской войне
войну! —
Вырастают
на земле
слезы озёра,
слишком
непролазны
крови топи.
И клонились
одиночки-фантазеры
над решением
немыслимых утопий.
Голову
об жизнь
разбили филантропы.

Разве
путь миллионам —
филантропов тропы?
И уже
бессилен
сам капиталист,
так его
машина размахалась, —
строй его
несет,
как пожелтый лист,
кризисов
и забастовок х'аос. —
В чей карман
стекаем
золотою лавой?
С кем идти
и на кого пенять? —
Класс миллионоглавый
напрягает глаз —
себя понять.
Время
часы
капитала
крало,
побивая
прожекторов яркость.
Время
родило

брата Карла —
старший
ленинский брат
Маркс.
Маркс!
Встает глазам
седин портретных рама.
Как же
жизнь его
от представлений далека!
Люди
видят
замурованного в мрамор,
гипсом
холодеющего старика.
Но когда
революционной тропкой
первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс
и мысль свою зажег!
Будто сам
в заводе каждом
стоя стоймя,
будто

каждый труд
размозоливая лично,
грабящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,
Маркс
повел
разить
войною классовой
золотого,
до быка
доросшего тельца.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны
только
волны случая
закинут
нас
юля.
Маркс
раскрыл
истории законы,
пролетариат

поставил у руля.
Книга Маркса
не набора гранки,
не сухие
цифр столбцы —
Маркс
рабочего
поставил на ноги
и повел
колоннами
стройнее цифр.
Вел
и говорил: —
сражаясь, лягте,
дело —
корректур
выкладкам ума.
Он придет,
придет
великий практик,
поведет
полями битв,
а не бумаг! —
Жерновами дум
последнее меля
и рукой
дописывая
восковой,
знаю,

Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны
флаг
над красною Москвой.
Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.
У каких-нибудь
годов
на расстоянии
сколько гроз
гудит
от нарастаний.
Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
за вспышками восстаний.
Крут

буржуев
озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
воя и стеная,
тени прадедов,
парижских коммунаров,
и сейчас
вопят
парижскою стеною:
– Слушайте, товарищи!
Смотрите, братья!
Горе одиночкам —
выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
Бейте партией!
Кулаком
одним
собрав
рабочий класс. —
Скажут:
«Мы вожди»,
а сами —
шаркунами?
За речами
шкуру
распознать умей!
Будет вождь
такой,
что мелочами с нами —

хлеба проще,
рельс прямой.
Смесью классов,
вер,
сословий
и наречий
на рублях колес
землица двигалась.
Капитал
ежом противоречий
рос всюду
и креп,
штыками иглясь.
Коммунизма
призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи...
По всему по этому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.

* * *

Я знал рабочего.
Он был безграмотный.

Не разжевал
даже азбуки соль.
Но он слышал,
как говорил Ленин,
и он
знал – всё.
Я слышал
рассказ
крестьянина-сибирца.
Отобрали,
отстояли винтовками
и раем
разделили селеньице.
Они не читали
и не слышали Ленина,
но это
были ленинцы.
Я видел горы —
на них
и куст не рос.
Только
тучи
на скалы
упали ничком.
И на сто верст
у единственного горца
лохмотья
сияли
ленинским значком.

Скажут —
это
о булавках ахи.
Барышни их
вкалывают
из кокетливых причуд.
Не булавка вколота —
значком
прожгло рубахи
сердце,
полное
любовью к Ильичу.
Этого
не объяснишь
церковными славянскими крюками,
и не бог
ему
велел —
избранник будь!
Шагом человеческим,
рабочими руками,
собственной головой
прошел он
этот путь.
Сверху
взгляд
на Россию брось —
рассинелась речками,
словно

разгулялась
тысяча розг, словно
плетью исполосована.
Но синей,
чем вода весной,
синяки
Руси крепостной.
Ты
с боков
на Россию глянь —
и куда
глаза ни кинь,
упираются
небу всклянь
горы,
каторги
и рудники.
Но и каторг
больнее была
у фабричных станков
кабала.
Были страны
богатые более,
красивее видал
и умней.
Но земли
с еще большей болью
не довиделось
видеть

мне.

Да, не каждый

удар

сотрешь со щеки.

Крик крепчал:

– Подымайтесь

за землю и волю вы! —

И берутся

бунтовщики-одиночки

за бомбу

и за револьвер.

Хорошо

в царя

вогнуть обойму!

Ну, а если

только пыль

взметнешь у колеса?!

Подготовщиком

цареубийства

пойман

брат Ульянова,

народоволец

Александр.

Одного убьешь —

другой

во весь свой пыл

пытками

ушедших

переплюнуть тужится.

И Ульянов
Александр
повешен был
тысячным из шлиссельбуржцев.
И тогда
сказал
Ильич семнадцатигодовый —
это слово
крепче клятв
солдатом поднятой руки: —
Брат,
мы здесь
тебя сменить готовы,
победим,
но мы
пойдем путем другим! —
Оглядите памятники —
видите
героев род вы?
Станет Гоголем,
а ты
венком его величь.
Не такой —
чернорабочий,
ежедневный подвиг
на плечи себе
взвалил Ильич.
Он вместе,
учит в кузничной пасти,

как быть,
чтоб зарплата
взросла пятаком.
Что делать,
если
дерется мастер.
Как быть,
чтоб хозяин
поил кипятком.
Но не мелочь
целью в конце:
победив,
не стой так
над одной
сметённой лужею.
Социализм – цель.
Капитализм – враг.
Не веник —
винтовка оружие.
Тысячи раз
одно и то же
он вбивает
в тугой слух,
а наавтра
друг в друга вложит
руки
понявших двух.
Вчера – четыре,
сегодня – четыреста.

Таимся,
а завтра
в открытую встанем,
и эти
четыреста
в тысячи вырастут.
Трудящихся мира
подыдем восстанием.
Мы уже
не тише вод,
травинок ниже —
гнев трудящихся
густится в туче.
Режет
молниями
Ильичевых книжек.
Сыпет
градом
прокламаций и летучек.
Бился
об Ленина
темный класс,
тёк
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,
с классом

рос

Ленин.

И уже

превращается в быль то,

в чем юношей

Ленин клялся:

– Мы

не одиночки,

мы —

союз борьбы

за освобождение

рабочего класса. —

Ленинизм идет

все далее

и более вширь

учениками

Ильичевой выверки.

Кровью

вписан

героизм подполья

в пыль

и в слякоть

бесконечной Володимирки.

Нынче

нами

шар земной заверчен.

Даже

мы,

в кремлевских креслах если, —

скольким
вдруг
из-за декретов Нерчинск
кандалами
раззвенится в кресле!
Вам
опять
напомню птичий путь я.
За волчком —
трамваев
электрическая рысь.
Кто
из вас
решетчатые прутья
не царапал
и не грыз?!
Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».
Полюбилась Ленину
в какой из ссылок
этой песни
траурная сила?
Говорили —

мужичок
своей пойдёт дорогой,
заведет
социализм
бесхитростен и прост.
Нет,
и Русь
от труб
становится стор'огой.
Город
дымной бородой оброс.
Не попросят в рай —
пожалуйста,
войдите —
через труп буржуазии
коммунизма шаг.
Ста крестьянским миллионам
пролетариат водитель.
Ленин —
пролетариев вожак.
Понаобещает либерал
или эсерик прыткий,
сам охочий до рабочих шей, —
Ленин
фразочки
с него
пооборвет до нитки,
чтоб из книг
сиял

в дворянском нагише.

И нам

уже

не разговорцы досужие,

что-де свобода,

что люди братья, —

мы

в Марксовом всеоружии

одна

на мир

большевистская партия.

Америку

пересекаешь

в экспрессном купе,

идешь Чухломой —

тебе

в глаза

вонзается теперь

РКП

и в скобках

маленькое «б».

Теперь

на Марсов

охотится Пулково,

перебирая

небесный ларчик.

Но миру

эта

строчная буква

в сто крат красней,
грандиозней
и ярче.
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».
Единица!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоныше писка.
Кто ее услышит? —
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия —
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихий и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,

как в канонаду
от пушек
перепонки.

Плохо человеку,
когда он один.

Горе одному,
один не воин —
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.

А если
в партию
сгрудились малые —
сдайся, враг,
замри
и ляг!

Партия —
рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.

Единица – вздор,
единица – ноль,
один —
даже если
очень важный —
не подымет
простое

пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.

Партия —

это

миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.

Партией

стройки

в небо взмечем,

держа

и вздымая друг друга.

Партия —

спинной хребет рабочего класса.

Партия —

бессмертие нашего дела.

Партия – единственное,

что мне не изменит.

Сегодня приказчик,

а завтра

царства стираю в карте я.

Мозг класса,

дело класса,

сила класса,

слава класса —

вот что такое партия.

Партия и Ленин —

близнецы-братья —

кто более
матери-истории ценен?

Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем —
Ленин.

Еще
горой
коронованные главы,
и буржуи
чернеют,
как вороны в зиме,
но уже
горение
рабочей лавы
по кратеру партии
рвется из-под земель.
Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.

Довольно!
Не верим
разговорам посторонним.
Сами
с оружием
встали пресненцы.
Казалось —
сейчас
покончим с троном,
за ним
и буржуево
кресло треснет.
Ильич уже здесь.
Он изо дня н'а день
проводит
с рабочими
пятый год.
Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведет
всего восстания ход.
Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».
Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестиком.

А после
«свободной»
медовой недели
речи,
банты
и пения плавные
пушечный рев
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание
царев адмирал,
каратель Дубасов.
Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чека!
Смотрите,
как здесь,
связавши за локти,
рабочих насмерть
секли по щекам.
Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и всё изгадили.
Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.

Сам заскулил
товарищ Плеханов:
– Ваша вина,
запутали, братцы!
Вот и пустили
крови лохани!
Нечего
зря
за оружие браться. —
Ленин
в этот скулеж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:
– Нет,
за оружие
браться нужно,
только более
решительно и энергично.
Новых восстаний вижу день я.
Снова подымется
рабочий класс.
Не защита —
нападение
стать должно
лозунгом масс. —
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане

покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.
И Ленин
снова
в своем изгнании
готовит
нас
перед новой битвой.
Он учит
и сам вбирает знание,
он партию
вновь
собирает разбитую.
Смотри —
забастовки
вздымают год,
еще —
и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.
Но вот из лет
подымается
страшный четырнадцатый.
Так пишут —
солдат-де
раскурит трубку,
балакать пойдет
о походах древних,

но эту
всемирнейшую мясорубку
к какой приравнять
к Полтаве,
к Плевне?!

Империализм
во всем оголении —
живот наружу,
с вставными зубами,
и море крови
ему по колени —
сжирает страны,
вздымая штыками.

Вокруг него
его подхалимы —
патриоты —
приспособились Вовы —
пишут,
руки предавшие вымыв: —
Рабочий,
дерись
до последней крови! —
Земля —
горой
железного лома,
а в ней
человечья
рвань и рваль.
Среди

всего сумасшедшего дома
трезвый
встал
один Циммервальд.
Отсюда
Ленин
с горсточкой товарищей
встал над миром
и поднял над
мысли
ярче
всякого пожарища,
голос
громче
всех канонад.
Оттуда —
миллионы
канонадою в уши,
стотысячесабельной
конницы бег,
отсюда,
против
и сабель и пушек, —
скуластый
и лысый
один человек.
— Солдаты!
Буржуи,
предав и продав,

к туркам шлют,
за Верден,
на Двину.
Довольно!
Превратим
войну народов
в гражданскую войну!
Довольно
разгромов,
смертей и ран,
у наций
нет
никакой вины.
Против
буржуазии всех стран подыдем
знамя
гражданской войны! —
Думалось:
сразу
пушка-печка
чихнет огнем
и сдунет гнилью,
потом поди,
ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию.
Глоткой орудий,
шипевших и вывших,
друг другу

страны
орут —
на колени!
Додрались,
и вот
никаких победивших —
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истощили
терпенье ангельское.
Ты
восставшею
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.
Империя —
это тебе не к'ура!
Клювастый орел
с двухглавою властью.
А мы,
как докуренный окурок,
просто
сплюнули
их династью.
Огромный,
покрытый кровавою ржою,
народ,

голодный и голоштаный,
к Советам пойдет
или будет
буржую таскать,
как и встарь,
из огня каштаны? —
Народ
разорвал
оковы царь,
Россия в буре,
Россия в грозе, —
читал
Владимир Ильич
в Швейцарии,
дрожа,
волнуясь
над кипой газет.
Но что
по газетным узнаешь клочьям?
На аэроплане
прорваться б ввысь,
туда,
на помощь
к восставшим рабочим, —
одно желанье,
единая мысль.
Поехал,
покорный партийной воле,
в немецком вагоне,

немецкая пломба.
О, если бы
знал
тогда Гогенцоллерн,
что Ленин
и в их монархию бомба!
Питерцы
всё еще
всем на радость
лобзались,
скакали детишками малыми,
но в красной ленточке,
слегка припарадясь,
Невский
уже
кишел генералами.
За шагом шаг —
и дойдут до точки,
дойдут
и до полицейского свиста.
Уже
начинают
казать коготочки
буржуи
из лапок своих пушистых.
Сначала мелочь —
вроде мальков.
Потом повзрослев —
от шпротов до килечек.

Потом Дарданельский
в девичестве Милюков,
за ним
с коронацией
прет Михайльчик.
Премьер
не власть —
вышивание гладью!
Это
тебе
не грубый нарком.
Прямо девушка —
иди и гладь ее!
Истерики закатывает,
поет тенорком.
Еще
не попало
нам
и росинки
от этих самых
февральских свобод,
а у оборонцев —
уже хворостинки —
«марш, марш на фронт,
рабочий народ».
И в довершение
пейзажа славенького,
нас предававшие
и до

и потом,
вокруг
сторожами
эсеры да Савинковы,
меньшевики —
ученым котом.
И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик.
И снова
ветер
свежий, крепкий валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»
— Товарищи! —
и над головами
первых сотен вперед
ведущую
руку выставил.

– Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья.
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!

Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.

Да здравствует
партия,
строящая коммунизм,
да здравствует
восстание

за власть Советов! —

Впервые
перед толпой обалделой
здесь же,
перед тобою,
близ,
встало,
как простое
делаемое дело,
недостижимое слово —
«социализм».

Здесь же,
из-за заводов гудящих,

сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ.
На толщ
окрутивших
соглашательских веревок
слова Ильича
ударами топора.
И речь
прерывало
обвалами рева:
«Правильно, Ленин!
Верно!
Пора!»
Дом
Кшесинской,
за дрыгоножество
подаренный,
нынче —
рабочая блузница.
Сюда течет
фабричное множество,
здесь
закаляется

в ленинской кузнице.
«Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй».
Уж лезет
к сидящим
в хозяйском стуле —
как живете
да что жуετε?
Примериваясь,
в июле
за горло потрогали
и за животик.
Буржуевы зубья
ощерились разом. —
Раб взбунтовался!
Плетьями,
да в кровь его! —
И ручку
Керенского
водят приказом —
на мушку Ленина!
И партия
снова
ушла в подполье.
Ильич на Разливе,
Ильич в Финляндии.
Но ни чердак,

ни шалаш,
ни поле вождя
не дадут
озверелой банде их.
Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,
видна
направляющая
ленинская мысль,
видна
ведущая
ленинская рука.
Словам Ильичевым —
лучшая почва:
падают,
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего —
плечи
миллионов крестьян.
И когда
осталось
на баррикады выйти,
день наметив
в ряду недель,

Ленин
сам
явился в Питер: —
Товарищи,
довольно тянуть канитель!
Гнет капитала,
голод-уродина,
войн бандитизм,
интервенция в'орья —
будет! —
покажутся
белее родинок
на теле бабушки,
древней истории. —
И оттуда,
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.
Пройдут
года
сегодняшних тягот,

летом коммуны
согреет лета,
и счастье
сластью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.

Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулеметчики.
— Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он там.
— Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтайт!
— Есть! —
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лампой

блеснуло —

«Аврора».

Кто мчит с приказом,

кто в куче спорящих,

кто щелкал

затвором

на левом колене.

Сюда

с того конца коридорища

бочком

пошел

незаметный Ленин.

Уже

Ильичей

поведенные в битвы,

еще

не зная

его по портретам,

толкались,

орали,

острее бритвы

солдаты друг друга

крыли при этом.

И в этой желанной

железной буре

Ильич,

как будто

даже заспанный,

шагал,

становился
и глаз, сощурия,
вонзал,
заложивши
руки за спину.
В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
установил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.
И знал я,
что все
раскрыто и понято
и этим
глазом
наверное выловится —
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля путиловца.
Он
в черепахе
сотней губерний ворочал,

людей
носил
до миллиардов полутора.
Он
взвешивал
мир
в течение ночи, а утром:
—Всем!
Всем!
Всем это – фронтам,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,
в рабство
богатым отданным. —
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным! —
Буржуи
прочли
– погодите,
выловим, —
животики пятят
доводом веским —
ужо им покажут
Духонин с Корниловым,
покажут ужо им
Гучков с Кер'енским.

Но фронт
без боя
слова эти взяли —
деревня
и город
декретами залит,
и даже
безграмотным
сердце прожег.

Мы знаем,
не нам,
а им показали,
какое такое бывает
«ужо».

Переходило
от близких к ближним,
от ближних
дальним взрывало сердца:
«Мир хижинам, война,
война,
война дворцам!»

Дрались
в любом заводе и цехе,
горохом
из городов вытряхивали,
а сзади
шаганье октябрьское
метило вехи
пылающих

дворянских усадеб.
Земля —
подстилка под ихними порками,
и вдруг
ее,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями ее
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.
В очках
манжетщики,
злобой похаркав,
ползли туда,
где царство да графство.
Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!
Мы жили
пока
производством ротаций.
С окопов
летело
в немецкие уши:
— Пора кончать!
Выходите брататься! —
И фронт

расползался
в улитки теплушек.
Такую ли
течь
загородите горстью?
Казалось —
наша лодчонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористой,
сотрет
Советской страны границы.
Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
ловили бегущих
в свое словоблудьище,
тащили
по-рыцарски
глупой шпажонкой
красиво
сразить
броневые чудища!
Ильич
петушившимся
крикнул:
— Ни с места!
Пусть партия
взвалит
и это бремя.
Возьмем

передышку похабного Бреста.

Потеря – пространство,

выигрыш – время. —

Чтоб не передохнуть

нам

в передышку,

чтоб знал —

запомнят удары мои,

себя

не муштровкой —

сознанием вышколи,

стройся

рядами

Красной Армии.

Историки

с гидрой плакаты выдерут

– чи эта гидра была,

чи нет? —

а мы

знавали

вот эту гидру

в ее

натуральной величине.

«Мы смело в бой пойдем

за власть Советов

и, как один, умрем

в борьбе за это!»

Деникин идет.

Деникина выкинут,

обрушенный пушкой
подымут очаг.

Тут Врангель вам —
на смену Деникину.

Барона уронят —
уже Колчак.

Мы жрали кору,
ночевка — болотце,
но шли

миллионами красных звезд,
и в каждом — Ильич,
и о каждом заботится
на фронте

в одиннадцать тысяч верст.

Одиннадцать тысяч верст
окружность,

а сколько
вдоль да поперек!

Ведь каждый дом
атаковывать нужно,

каждый
врага

в подворотнях берег.

Эсер с монархистом
шпионят бессонно —

где жалят змеей,

где рубят плеча.

Ты знаешь
путь

на завод Михельсона?

Найдешь

по крови

из ран Ильича.

Эсеры

целят

не очень верно —

другим концом

да себя же

в бровь.

Но бомб страшнее

и пуль револьверных

осада голода,

осада тифов.

Смотрите —

кружат

над крошками мушки,

сытней им,

чем нам

в осьмнадцатом году, —

простаивали

из-за осьмушки сутки

в улице

на холоду.

Хотите сажайте,

хотите травите —

завод за картошку —

кому он не жалок!

И десятикорпусный

судостроитель пыхтел
и визжал
из-за зажигалок.
А у кулаков
и масло и пышки.
Расчет кулаков
простой и верненький —
запрячь хлеба
да зарой в кубышки
николаевки
да к'еренки.
Мы знаем —
голод
сметает начисто,
тут нужен зажим,
а не ласковость воска,
и Ленин
встает
сражаться с кулачеством
и продотрядами
и подразверсткой.
Разве
в этакое время
слово «демократ»
набредет
какой головке дурьей?!
Если бить,
так чтоб под ним
панель была мокра:

ключ побед —
в железной диктатуре.
Мы победили,
но мы
в пробоинах:
машина стала,
обшивка —
лохмотья.
Валы обломков!
Лохмотьев обойных!
Идите залейте!
Возьмите и смойте!
Где порт?
Маяки
поломались в порту,
кренимся,
мачтами
волны крестя!
Нас опрокинет —
на правом борту
в сто миллионов
груз крестьян.
В восторге враги
заливаются воя,
но так
лишь Ильич умел и мог —
он вдруг
повернул
колесо рулевое сразу

на двадцать румбов вбок.

И сразу тишь,
дивящая даже;

крестьяне

подвозят

к пристани хлеб.

Обычные вывески

— купля —

— продажа —

— нэп.

Прищурился Ленин:

— Чинитесь пока чего,

аршину учись,

не научишься —

плох. —

Команду

усталую

берег покачивал.

Мы к буре привыкли,

что за подвох?

Залив

Ильичем

указан глубокий

и точка

смычки-причала

найдена,

и плавно

в мир,

строительству в доки,

вошла
Советских республик громадина.
И Ленин
сам
где железо,
где дерево носил
чинить
пробитое место.
Стальными листами
вздымал
и примеривал
кооперативы,
лавки
и тресты.
И снова
становится
Ленин штурман,
огни по бортам,
впереди и сзади.
Теперь
от абордажей и штурма
мы
перейдем
к трудовой осаде.
Мы
отошли,
рассчитавши точно.
Кто разложился —
на берег

за ворот.
Теперь вперед!
Отступление окончено.
РКП,
команду на борт!
Коммуна – столетия,
что десять лет для ней?
Вперед —
и в прошлом
скроется нэпчик.
Мы двинемся
во сто раз медленней,
зато
в миллион
прочней и крепче.
Вот этой
мелкобуржуазной стихии
еще
колышется
мертвая зыбь,
но, тихие
тучи
молнией выев,
уже —
нарастање
всемирной грозы.
Враг
сменяет
врага поределого,

но будет —
над миром
зажжем небеса —
но это
уже
полезней проделывать,
чем
об этом писать.
Теперь,
если пьете
и если едите,
на общий завод ли
идем
с обеда,
мы знаем —
пролетариат – победитель,
и Ленин —
организатор победы.
От Коминтерна
до звонких копеек,
серпом и молотом
в новой меди,
одна
неписаная эпопея —
шагов Ильича
от победы к победе.
Революции —
тяжелые вещи,
один не подымешь —

согнется нога.
Но Ленин
меж равными
был первейший
по силе воли,
ума рычагам.
Подымаются страны
одна за одной —
рука Ильича
указывала верно:
народы —
черный,
белый
и цветной —
становятся
под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
непреклонные колонны —
буржуи
пяти частей света,
вежливо
приподымая
цилиндры и короны,
кланяются
Ильичевой Республике Советов.
Нам
не страшно
усилие ничье,
мчим

вперед
паровозом труда...
и вдруг
стопудовая весть —
с Ильичем
удар.

* * *

Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозеи.
Еще бы —
такое
не увидишь и в века!
Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.
Живьем,
по голову в землю,
закапывали нас банды
Мамонтова.
В паровозных топках
сжигали нас японцы.
рот заливали свинцом и оловом.
отрекитесь! – ревели,

но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм! —
Кресло за креслом,
ряд в ряд
эта сталь
железо это
вваливалось
двадцать второго января
в пятиэтажное здание
Съезда Советов.
Усаживались,
кидались усмешкою,
решали
походя
мелочь дел.
Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
президиум,
как вырубленный,
поредел?
Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым?
Держится еле.
Несчастье?

Какое?
Быть не может?
А если с ним?
Нет!
Неужели?
Потолок
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще нагни!
Задрожали вдруг
и стали черными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся
клокольчика ненужный щелк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слезы не сжуешь
с усов и щек.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
голову мнут.
Кровь в виски,
клокочет в вене:
— Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин!
Этот год

видал,
чего не взвидят сто.
День
векам
войдет
в тоскливое преданье.
Ужас
из железа
выжал стон.
По большевикам
прошло рыданье.
Тяжесть страшная!
Самих себя же
выволакивали
волоком.
Разузнать —
когда и как?
Чего таят!
В улицы
и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.
Радость
ползет улиткой.
У горя
бешеный бег.
Ни солнца,
ни льдины слитка —

всё
сквозь газетное ситко
черный
засеял снег.
На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.
И как будто
слезы стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,
смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растертая грязь.
Были люди – кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерьезничались дети,
и, как дети,
плакали седобородые.
Ветер

всей земле
бессонницею был,
и никак
восставшей
не додумать до конца.
что вот гроб
в морозной
комнатеночке Москвы
революции
и сына и отца.
Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло —
и видите под...
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица,
будто рана сквозная —
так болит
и стонет так.
Здесь
каждый камень
Ленина знает

по топоту
первых
октябрьских атак.

Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.

Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.

Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца ему
ветками елок стели.

Он в битву вел,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.

Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя

в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.
Он земли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченным, снятся.
И коммунары
с-под площади Красной,
казалось,
шепчут:
— Любимый и милый!
Живи,
и не надо
судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
и ляжем в могилы! —
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят, —
плотина улиц
враспашку растворится,
и с песней
на смерть
ринутся люди.

Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб
и согнутые плечи.
Он был человек
до конца человеческого —
неси
и казись
тоской человеческой.
Вовек
такого
бесценного груза
еще
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому Союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.
Еще
в караул
вставала в почетный
суровая гвардия
ленинской выправки,
а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину

и Тверской
и Димитровки.
В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но в эту
холодную,
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.
Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.
Желтое солнце,
косое и лаковое.
взойдет,
лучами к подножью кидается.
Как будто
забитые,
надежду оплакивая,

склоняясь в горе,
проходят китайцы.
Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы меняя,
путая даты.
Как будто
не ночь
и не звезды на ней,
а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.
Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.
Мороз хватает
и тащит,
как будто
пытает,
насколько в любви закаленные.

Врывается в толпы.
В давку запутан,
вступает
вместе с толпой за колонны.
Ступени растут,
разрастаются в риф.
Но вот
затихает
дыхание и пенье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв —
бездонный обрыв
в четыре ступени.
Обрыв
от рабства в сто поколений,
где знают
лишь золота звонкий резон.
Обрыв
и край —
это гроб и Ленин,
а дальше —
коммуна
во весь горизонт.
Что увидишь?!
Только лоб его лишь,
и Надежда Константиновна
в тумане
за...
Может быть,

в глаза без слез
увидеть можно больше.
Не в такие
я
смотрел глаза.
Знамен
плывущих
склоняется шелк
последней
почестью отданной:
"Прощай же, товарищ
ты честно прошел
свой доблестный путь, благородный".
Страх.
Закрой глаза
и не гляди —
как будто
идешь
по проволоке провода.
Как будто
минуту
один на один
остался
с огромной
единственной правдой.
Я счастлив.
Звнящего марша вода
относит
тело мое невесомое.

Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знамённые
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бои —
"Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои".
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и веками алея,

на последнее
прощание с Ильичем
шли
и медлили у Мавзолея.
Выполняют церемониал.
Говорили речи.
Говорят – и ладно.
Горе вот,
что срок минуты
мал —
разве
весь
охватишь ненаглядный!
Пройдут
и наверх
смотрят с опаской,
на черный,
посыпанный снегом кружок.
Как бешено
скачут
стрелки на Спасской.
В минуту —
к последней четверке прыжок.
Замрите
минуту
от этой вести!
Остановись,
движение и жизнь!
Поднявшие молот,

стыньте на месте.
Земля, замри,
ложись и лежи!
Безмолвие.
Путь величайший окончен.
Стреляли из пушки,
а может, из тыщи.
И эта
пальба
казалась не громче,
чем мелочь,
в кармане бренчащая —
в нищем.
До боли
раскрыл
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.
Встает
предо мной
у знамен в озарении
темный
земной
неподвижный шар.
Над миром гроб,
неподвижен и нем.
У гроба —
мы,
людей представители,

чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня видели.
Но вот
издалёка,
оттуда,
из алого
в мороз,
в караул умолкнувший наш,
чей-то голос —
как будто Муралова —
«Шагом марш».
Этого приказа
и не нужно даже —
реже,
ровнее,
тверже дыша,
с трудом
отрывая
тело-тяжесть,
с площади
вниз
вбиваем шаг.
Каждое знамя
твердыми руками
вновь
над головою
взвито ввысь.

Топота потоп,
сила кругами,
ширясь,
расходится
миру в мысль.
Общая мысль
воедино созвеньена
рабочих,
крестьян
и солдат-рубак:
— Трудно
будет
республике без Ленина.
Надо заменить его —
кем?
И как?
Довольно
валяться
на перине клоповой!
Товарищ секретарь!
На тебе —
вот —
просим приписать
к ячейке еркаповой
сразу,
коллективно,
весь завод... —
Смотрят
буржуи,

глазки раскоряча,
дрожат
от топота крепких ног.
Четыреста тысяч
от станка
горячих —
Ленину
первый
партийный венок.
— Товарищ секретарь,
бери ручку...
Говорят — заменим...
Надо, мол...
Я уже стар —
берите внучика,
не отстает —
подай комсомол. —
Подшефный флот,
подымай якоря,
в море
пора
подводным кротам.
"По морям,
по морям,
нынче здесь,
завтра там".
Выше, солнце!
Будешь свидетель —
скорей

разглаживай траур у рта.

В ногу

взрослым

вступают дети —

тра-та-та-та-та

та-та-та-та.

"Раз,

два,

три!

Пионеры мы.

Мы фашистов не боимся,

пойдем на штыки".

Напрасно

кулак Европы задран.

Кроем их грохотом.

Назад!

Не сметь!

Стала

величайшим

коммунистом-организатором

даже

сама

Ильичева смерть.

Уже

над трубами

чудовищной рощи,

руки

миллионов

сложив в древко,

красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздымается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин:
— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

ЛЕТАЮЩИЙ ПРОЛЕТАРИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В «Правде»
пишется правда.
В «Известиях» —
известия.
Факты.
Хоть возьми
да положи на стол.
А поэта
интересует
и то,
что будет через двести
лет
или —
через сто.

I ВОЙНА, КОТОРАЯ БУДЕТ СЕЙЧАС

Когда
перелистываем
газетный лист мы,
перебираем

новости
заграницы болотной,
натыкаемся —
выдумали
ученые империалистовы:
то газ,
то луч,
то самолет беспилотный.
Что им,
куриная судьба горька?
Человечеству
помогают,
лучи скрестя?
Нет —
с поднебесья
новый аркан
готовят
на шеи
рабочих и крестьян.
Десятилетие
страницы
всех газетин
смерть начинала —
увечья,
горе...
Но вздором
покажутся
бойни эти
в ужасе

грядущих фантазмагорий.

...

2125 год.

Небо горсти сложило

(звезды клянчит).

Был вечер,

выражаясь просто.

На небе,

как всегда,

появился аэропланчик.

Обычный —

самопишущий —

«Аэророста».

Москва.

Москвичи

повылезли на крыши

сорокаэтажных

домов-коммун.

— Посмотрим, что ли...

Про что пропишет.

Кто?

Кого?

Когда?

Кому? —

Тревога.

Летчик
открыл
горящий газ,
вывел
на небе
раму.
Вывел
крупными буквами:

ПРИКАЗ.
МОБИЛИЗАЦИЯ.

А потом —
телеграмму:
Рапорт.
Наблюдатели.
Берег восточный.
Доносим:
"Точно —
без пяти восемь,
несмотря
на время раннее,
враг
маяки
потушил крайние".
Ракета.
Осветились
в темноте
приготовления —

лихорадочный темп.
Крыло к крылу,
в крылья крылья,
первая,
вторая,
сотая эскадрилья.
Еще ракету!
Вспыхнула.
Видели?
Из ангаров
выводятся истребители.
"Зашифровали.
Передали
стам
сторожевым
советским постам.
Порядок образцовый.
Летим
наперерез,
в прикрытии
газовых завес".
За рапортом —
воззвание:
"Товарищи,
ясно!
Угроза —
Европе
и Азии красной.
Америка —

разбитой буржуазии оплот —
на нас
подымает
воздушный флот.
Не врыть
в нору
рабочий класс.
Рука – на руль!
Глаз – на газ!"
Казалось,
газ,
смертоносный и душненький,
уже
обволакивает
миллионы голов.
Заторопились.
Хватали наушники.
Бросали в радио:
"Алло!
Алло!!"
Мотор умолк,
тревогу отгаркав.
Потух
вверху
фосфорический свет.
А люди
выводили
двухместки из ангарикиов,
летели —

с женой —
в районный совет.
Долетевшим
до половины
встречались —
побывавшие в штабе.
Туда!
Туда!!
Где бомбы
да мины
сложил
арсенальщик
в страшный штабель.

Радиомитинг.

– Товарищи!
На митинг! —
радио кликал.
Массы
морем
вздымало бурно.
А с Красной
площади
взлетала восьмикрылка —
походная
коминтерновская трибуна.
Не забудется
вовек

картина эта.
В масках,
в противогазном платье
земля
разлеглась
фантастическим макетом.
А вверху —
коминтерновский председатель:
— Товарищи!
Сегодня
Америка
Союзу
трудящихся
навязывает войны! —
От Шанхая
до ирландского берега —
фразы
сразу
по радиоволнам.

Авиамобилизация.

Сегодня
забыли
сон и дрему.
Солнце
искусственное
в миллиард свечей
включили,

и от аэродрома
к аэродрому
сновали
машины
бессонных москвичей.
Легкие разведчики,
дредноуты из алюминия...
И в газодежде,
мускулами узловат,
рабочий
крепил
подвески минные;
бомбами —
летучками
набивал кузова.
Штабные
у машин
разбились на группки.

Небо кроили;
место свое
отмечали.
Делали зарубки
на звездах —
территории грядущих боев.
Летчик.
Рядом – ребятишки
(с братом)
шлем

помогали
надеть ему.
И он
объяснял
пионерам и октябрятам,
из-за чего тревога
и что — к чему:
— Из Европы выбили...
из Азии...
Ан,
они — туда
наострили лыжи, —
в Америку, значит.
В подводках.
За океан.
А там —
свои.
Буржуи.
Кулиджи.
Мы
тут
забыли и имя их.
Заводы строим.
Возносим трубы.
А они
не дремлют.
У них —
химия.
Воняют газом.

Точат зубы.
Ну, и решили —
дошло до точки.
Бомбы взяли.
С дом — в объем.
Камня на камне,
листочка на листочке
не оставят.
Побьют...
Если мы не побьем. —

Вперед.

Одна
машина
выскользнула плавно.
Снизилась,
смотрит...
Чего бы надо еще?
Потом рванулась —
обрадовалась словно —
сигнализировала:
"Главнокомандующий.
Приказываю:
Пора!
Вперед!!
И до Марса
винт отмахнет!"
Отземлились,

подняли рупора.
И воздух
гремит
в давнишнем марше.

Марш.

Буржуи
лезут в яри
на самый
небный свод.
Товарищ
пролетарий,
садись на самолет!
Катись
назад,
заводчики,
по облакам свистя.
Мы – летчики
республики
рабочих и крестьян.
Где не проехать
коннице,
где не пройти
ногам —
там
только
летчик гонится
за птицами врага.

Вперед!
Сквозь тучи-кочки!
Летим,
крылом блестя.
Мы – летчики
республики
рабочих и крестьян!
Себя
с врагом померьте,
дорогу
кровью рдя;
до самой
небей тверди
коммуну
утвердя.
Наш флаг
меж звезд
полощется,
рабочью
власть
растя.
Мы – летчики,
мы – летчицы
рабочих и крестьян!

* * *

Начало.

Сначала

разведчики
размахнулись полукругом.
За разведчиками —
истребителей дуга,
А за ними
газоносцы
выстроились в угол.
Тучи
от винтов
размахиваются наугад.
А за ними,
почти
закрывая многоокий,
помноженный
фонарями
небесный свод,
летели
огромней,
чем корабельные доки,
ангары —
сразу
на аэропланов пятьсот.
Когда
повороты
были резки, —
на тысячи
ладов и ладков
ревели
сонмы

окружающих мастерских
свистоголосием
сирен и гудков.

За ними

вслед

пошли обозы,

маскированные

каким-то

цветом седым.

Тихо...

Тебе – не телегой об землю!..

Арсеналы,

склады

медикаментов,

еды...

Под ними

земля

выгибалась миской.

Ждали

на каждой

бетонной поляне.

Ленинская

эскадрилья

взлетела из-под Минска...

Присоединились

крылатые смоляне...

Выше,

выше

ввинчивались летчики.

Совсем высоко...

И – еще выше.

Марш отшумел.

Машины —

точки.

Внизу – пощурились

и бросили крыши.

Проверили.

Есть —

кислород и вода.

Еду

машина

в минуту подавала.

И влезли,

осмотрев

провода и привода,

в броню

газонепроницаемых подвалов.

На оборону!

Заводы гудят.

А краны

мины таскают.

Под землю

от вражьего газа уйдя,

бежала

жизнь заводская.

Поход.

Летели.

Птицы

в изумленьи глядели.

Летели...

Винт,

звезда блестит в темноте ли?

Летели...

Ввысь

до того,

что — иней на теле.

Летели...

Сами

себя ж

догоняя еле,

летели.

С часами

скорость

творит чудеса:

шло

в сутки

двое сполна;

два солнца —

в 24 часа;

и дважды

всходила луна.

Когда ж

догоняли

вращенье земли —

сто мест

перемахивал

глаз.

А циферблат

показывал

им

один

неподвижный час.

Взвивались,

прорезавши

воздух весь.

В удушьи

разинув рот,

с трудом

рукой,

потерявшей вес,

выструивали

кислород.

Врезались

разведчики

в бурю

и в гром

и, бросив

громовую одурь,

на гладь

океана

кидались ядром

и плыли,

распенивши воду.

Плавучей

миной
взорван один.
И тотчас
все остальные
заторопились
в воду уйти,
сомкнувши
брони стальные.
Всплывали,
опасное место пройдя,
стряхнувши
с пропеллеров
капли;
и вновь
в небосвод,
пылающ и рдян,
машин
многоточие
вкрапили.
Летели...
Минуты...
сутки...
недели...
Летели.
Сквозь россыпи солнца,
сквозь луновы мели
летели.

Нападение.

Начальник
спокойно
передвигает кожаный
на два
валика
намотанный план.
Все спокойно.
И вдруг —
как подкошенный,
камнем —
аэроплан.
Ничего.
И только
лучище
вытягивается
разящей
ручищей.
Вставали,
как в пустыне миражи,
сто тысяч
машин
эскадрильи вражьей.
Нацелив
луч,
истребленье готовящий,
сторон с десяти
— никак не менее —
свистели,

летели,
мчались чудовища —
из света,
из стали,
из алюминия.

Качнула
машины
ветра река.

Налево
кренятся
по склону.

На правом
крыле
встает три "К",
три
черных
"К" —

Ку-клукс-клана.

А ветер
с другого бока налез,
направо
качнул огульно —

и чернью
взметнулась
на левом крыле
фашистская
загогулина.

Секунда.

Рассмерчились бешено.

И нет.
Исчезли,
в газ занавешены.
На каждом аэро,
с каждого бока,
как будто
искра —
в газовый бак,
два слова
взрывало сердца:
"Тревога!
Враг!"

Аэробитва.

Не различить
горизонта слитого.
Небо,
воздух,
вода —
воедино!
И в этой
синеве —
последняя битва.
Красных,
белых
— последний поединок.
Невероятная битва!
Ни одного громоханийка!!

Ни ядер,
ни пуль не вижу мимо я —
только
винтов
взбешенная механика,
только
одни
лучи да химия.
Гнались,
увлекались ловом,
и вдруг —
поворачивали
назад.
Свисали руки,
а на лице
лиловом —
вылезшие
остекленелые глаза.
Эскадрильи,
атакующие,
тучи рыли.
Прожектор
глаз
открывает круглый —
и нету
никаких эскадрилий.
Лишь падают
вниз
обломки и угли.

Иногда,
невидимые,
башня с башнею
сходились,
и тогда
громыхало одно это.
По старинке
дрались
врукопашную
два
в абордаже
воздушные дредноута.
Один разбит,
и сразу —
идиллия:
беззащитных,
как щенят,
в ангары
поломанные
дредноуты вводили,
здесь же
в воздухе
клепая и чиня.
Четырежды
ночью,
от звезд рябой,
сменились
дней глади,
но все

растет,
расширяется бой,
звереет
со дня на день.
В бою
умирали
пятые сутки.
Враг
отошел на миг.
А после
тысяча
ясно видимых и жутких
машин
пошла напрямик.
В атаку!
В лучи!! —
Не свернули лета.
В газ!!! —
И газ не мутит.
Неуязвимые,
прут без пилотов.
Все
метут
на пути.

* * *

Гнут.

Командав нахмурился.

Кажется – крышка!
Бросится наш,
винтами взмахнет —
и падает
мухой,
сложивши крылышки.
Нашим – плохо.
Отходят наши.
Работа —
чистая.
Сброшена тонна.
Ни увечий,
ни боли,
ни раны...
И город
сметен
без всякого стога
тонной
удушливой
газовой дряни.
Десятки
столиц
невидимый выел
никого,
ничего не щадящий газ.
К самой
к Москве
машины передовые
прут,

как на парад,
как на показ...

Уже

надеющихся
звали врялями.

Но летчики,
долг выполняя свой,
аэропланнами
кольцами-
спиралями
сгрудились
по-над самой Москвой.

Расплывшись
во все
небесное лоно,
во весь
непреклонный
машинный дух,
враг летел,
наступал неуклонно.

Уже —

в четырех километрах,
в двух...

Вспыхивали
в черных рамках
известия
неизбежной ясности.

Радио
громко

трубило:
— Революция в опасности! —
Скрежещущие звуки
корежили
и спокойное лицо, —
это
завинчивала люки
Москва
подвальных жильцов.
Сверху
видно:
мура —
так толпятся;
а те —
в дирижаблях
да – на Урал.
Прихватывают
жен и детей.
Растут,
размножаются
в небесном ситце
надвигающиеся
машины-горошины.
Сейчас закидают!
Сейчас разразится!
Сейчас
газобомбы
обрушатся брошенные.
Ну что ж,

приготовимся
к смерти душной.
Нам ли
клониться,
пощаду моля?
Напрягшись
всей
силищей воздушной,
примолкла
Советская Земля.

Победа.

И вдруг... —
не верится! —
будто
кто-то
машины
вражьи
дернул разом.
На удивленье
полувывлезшим
нашим пилотам,
те скривились
и грохнулись
наземь.
Не смея радоваться —
не подвох ли?
снизились, может,

землею шествуют? —
моторы
затараторили,
заохали,
ринулись
к месту происшествия.
Снизились,
к земле приникли...
В яме,
упавшими развороченной, —
обломки
алюминия,
никеля...
Без подвохов.
Так. Точно.
Летчики вылезли.
Лбы-складки.
Тысяча вопросов.
Ответ —
нем.
И лишь
под утро
радио-разгадка:
– Нью-Йорк.
Всем!
Всем!
Всем!

Радио.

Рабочих,
крестьян
и летные кадры
приветствуют
летчики
первой эскадры.
Пусть
разиллюминуют
Москву
в миллион свечей.
С этой минуты
навек минуют
войны.
Мы —
эскадра москвичей —
прорвались.
Нас
не видели.
Под водой —
до Америки рейс.
Взлетели.
Ночью
громкоговорители
поставили.
И забасили
на Нью-Йорк, на весь.
"Рабочие!
Товарищи и братья!

Скоро ль
наций
дурман развеется?!
За какие серебряники,
по какой плате
вы
предаете
нас, европейцев?
Сегодня
натравливают:
– Идите!
Европу
окутайте
в газовый мор! —
А завтра
возвратится победитель,
чтоб здесь
на вас
навьючить ярмо.
Что вам
жизнь
буржуями дарена?
Жмут
из вас
то кровь,
то пот.
Спаяйтесь
с нами
в одну солидарность.

В одну коммуну —
без рабов,
без господ!"
Полицейские —
за лисой лиса —
на аэросипедах...
Прожектора полоса...
Напрасно! —
Качаясь мерно,
громкоговорители
раздували голоса
лучших
ораторов Коминтерна.
Ничего!
Ни связать,
ни забрать его —
радио.
Видим,
у них —
сумятица.
Вышли рабочие,
полиция пятится.
А город
будто
огни зажег —
разгорается
за флагом флажок.
Для нас
приготовленные мины

миллиардерам
кладут под домины.
Знаменами
себя
осеня,
атаковывают
арсенал.
Совсем как в Москве
столетья назад
Октябрьская
разрасталась гроза.
Берут,
на версты
гром разбасив,
ломают
замков
хитроумный массив.
Радиофорт...
Охраняющий —
скинут.
Атаковали.
Взят вполовину.
В другую!
Схватка,
с час горяча.
Ухватывают
какой-то рычаг.
Рванули...
еще крутнули...

Мгновение, —
и то чересчур —
мгновения менее, —
как с тыщи
струнищ
оборванный вой!
И тыща
чудовищ
легла под Москвой.

Радость.

В «ура» содрогающимся
ртам еще
хотелось орать
и орать досыта, —
а уже
во все небеса
телеграммищу
вычерчивала
радиороста:
"Мир!
Народы
кончили драться.
Да здоровствует
минута эта!
Великая
Американская федерация
присоединяется

к Союзу советов!"
Сомнений —
ни в ком.
Подпись:
«Американский ревком».

Возвращение.

Утром
с запада
появились точки.
Неслись,
себя
и марш растя:
"Мы — летчики
республики
рабочих и крестьян.
Недаром
пролетали —
очищен
небий свод.
Крестьянин!
Пролетарий!
Снижайте самолет!
Скатились
вниз
заводчики,
по облакам свистя.
Мы летчики —

республики
рабочих и крестьян!
Не вступит
вражья
конница,
ни птица,
ни нога.
Наш летчик
всюду гонится
за силами врага.
Наш флаг
меж звезд полощется,
рабочью власть растя.
Мы – летчицы,
мы – летчики
рабочих и крестьян".

II

БУДУЩИЙ БЫТ

Сегодня.

Комната —
это,

конечно,
не роща.
В ней
ни пикников не устраивать,
ни сражений.
Но все ж
не по мне —
проклятая жилплощадь:
при моей,
при комплекции —
проживи на сажени!
Старики,
старухи,
дама с моською,
дети
без счета —
вот население.
Не квартира,
а эскимосское
или киргизское
копченое селение.
Ребенок —
это вам не щенок.
Весь день —
в работе упорной.
То он тебя
мячиком
сбивает с ног,
то

на крючок
запирает в уборной.
Меж скарбом —
тропинки,
крымских окольных.
От шума
взбесятся
и самые кроткие.
Весь день —
звонки,
как на колокольне.
Гуртом,
в одиночку,
протяжные,
короткие...
И за это
гнездо —
между клеток
и солений,
где негде
даже
приткнуть губу,
носишься
весь день,
отмахиваясь
от выселений
мандатом союзным,
бумажкой КУБУ.
Вернешься

ночью,
вымотан в городе.
Морда – в пене, —
смыть бы ее.
В темноте
в умывальной
лупит по морде
кем-то
талантливо
развешенное белье.
Бр-р-р-р!
Мутит
чад кухонный.
Встаю на корточки.
Тянусь
с подоконника
мордой к форточке.
Вижу,
в небесах —
возня аэропланова.
Приникаю
к стеклам,
в раму вбит.
Вот кто
должен
переделать наново
наш
сардиночный
унылый быт!

Будет.

Год какой-то
нолями разнулится.
Отгремят
последние
битвы-грома.
В Москве
не будет
ни переулка,
ни улицы —
одни аэродромы
да дома.
Темны,
неясны
грядущие дни нам.
Но —
для шутки
изображу
грядущего гражданина,
проводящего
одни сутки.

Утро.

Восемь.
Кричит
радиобудильник вежливый:

"Товарищ —
вставайте,
не спите ежели вы!
Завод —
зовет.
Пока
будильнику
приказов нет?
До свидания!
Привет!"
Спросонок,
но весь —
в деловой прыти,
гражданин
включил
электросамобритель.
Минута —
причесан,
щеки —
даже
гражданки Милосской
Венеры глаже.
Воткнул штепсель,
открыл губы:
электрощетка —
юрк! —
и выблестила зубы.
Прислуг — никаких!
Кнопкой званная,

сама
под ним
расплескалась ванная.
Намылила
вначале —
и пошла:
скребет и мочалит.
Позвонил —
гражданину
под нос
сам
подносится
чайный поднос.
Одевается —
ни пиджаков,
ни брюк;
рубаха
номерами
не жмет узка.
Сразу
облекается
от пяток до рук
шелком
гениально скроенного куска.
В туфли —
пару ног...
В окно —
звонок.
Прямо

к постели
из небесных лон
впархивает
крылатый почтальон.
Ни – приказ выселиться,
ни – с налогом повестка.
Письмо от любимой
и дружеских несколько.
Вбегают сын,
здоровяк-
карапуз.
– До свидания,
улетаю в вуз.
– А где Ваня?
– Он
в саду
порхает с няней.

На работу.

Сквозь комнату – лифт.
Присел —
и вышел
на гладь
расцветоченной крыши.
К месту
работы
курс держа,

к самому
карнизу
подлетает дирижабль.
По задумчивости
(не желая надуть)
гражданин
попробовал
сесть на лету.
Сделав
самые вежливые лица,
гражданина
остановила
авиамилиция.
Ни протоколов,
ни штрафа бряцания...
Только —
вежливенькое
порицание.
Высунувшись
из гондолы,
на разные тона
покрикивает
знакомым летунам:
— Товарищ,
куда спешите?
Бросьте!
Залетайте
как-нибудь
с женою

в гости!
Если свободны —
часа на пол
запархивайте
на авиабол!
— Ладно!
А вы
хотите пересесть?
Садитесь,
местечко в гондоле есть! —
Пересел...
Пятнадцать минут.
И вот —
гражданин
прибывает
на место работ.

Труд.

Завод.
Главвоздух.
Делают вообще они
воздух
прессованный
для междупланетных сообщений.
Кубик
на кабинку — в любую ширь,
и сутки
сосновым духом дыши.

Так —

в век оный

из «Магги»

делали бульоны.

Так же

вырабатываются

из облаков

искусственная сметана

и молоко.

Скоро

забудут

о коровьем имени.

Разве

столько

выдоишь

из коровьего вымени!

Фабрика.

Корпусом сорокаязычным.

Слезли.

Сорок —

в рвении яростном.

Чисто-чисто.

Ни копотей,

ни сажи.

Лифт

развез

по одному на этаж.

Ни гуда,

ни люда!

Одна клавиатура —
вроде «Ундервуда».
Хорошо работать!
Легко — и так,
а тут еще
по радио —
музыка в такт.
Бей буквами,
надо которыми,
а все
остальное
доделается моторами.
Четыре часа.
Промелькнули мельком.
И каждый —
с воздухом,
со сметаной,
с молоком.
Не скучайте,
как сонные совы.
Рабочий день —
четырёхчасовой.
Бодро, как белка...
Еще бодрей.
Под душ!
И кончено —
обедать рей!

Обед.

Вылетел.
Детишки.
Крикнул:
– Тише! —
Нагнал
из школы
летающих детишек.
– Куда, детвора?
Обедать пора! —
Никакой кухни,
никакого быта!
Летают сервированные
аэроустоловые Нарпита.
Стал
и сел,
Взял
и съел.
Хочешь — из двух,
хочешь — из пяти, —
на любой дух,
на всякий аппетит.
Посуда —
самоустанавливающаяся.
Поел —
и вон!
Подносит
к уху
радиотелефон.

Буркнул,
детишек лаская:
Дайте Чухломскую!
Коммуна Чухломская?..
Прошу —
Иванова Десятого! —
– Которого?
Бритого? —
– Нет.
Усатого!..
– Как поживаешь?
Добрый день.
– Да вот —
только
вылетел за плетень.
Пасу стадо.
А что надо? —
– Как что?!
Давно больно
не видались.
Залетай
на матч авиабольный. —
– Ладно!
Еще с часок
попасу
и спланирую
в шестом часу.
Может, опоздаю...
Думаю – не слишком.

Деревня
поручила
маленькое делишко.
Хлеба —
жарю мучимы,
так я
управляю
искусственными тучами.
Надо
сделать дождь,
да чтоб — без града.
До свидания! —

Занятия.

Теперь —
поучимся.
Гражданин
в минуту

подлетает
к Высшему
сметанному институту.
Сопоставляя
новейшие
технические данные,
изучает
в лаборатории
дела сметанные...

У нас пока —
различные категории занятий.
Скажем —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.